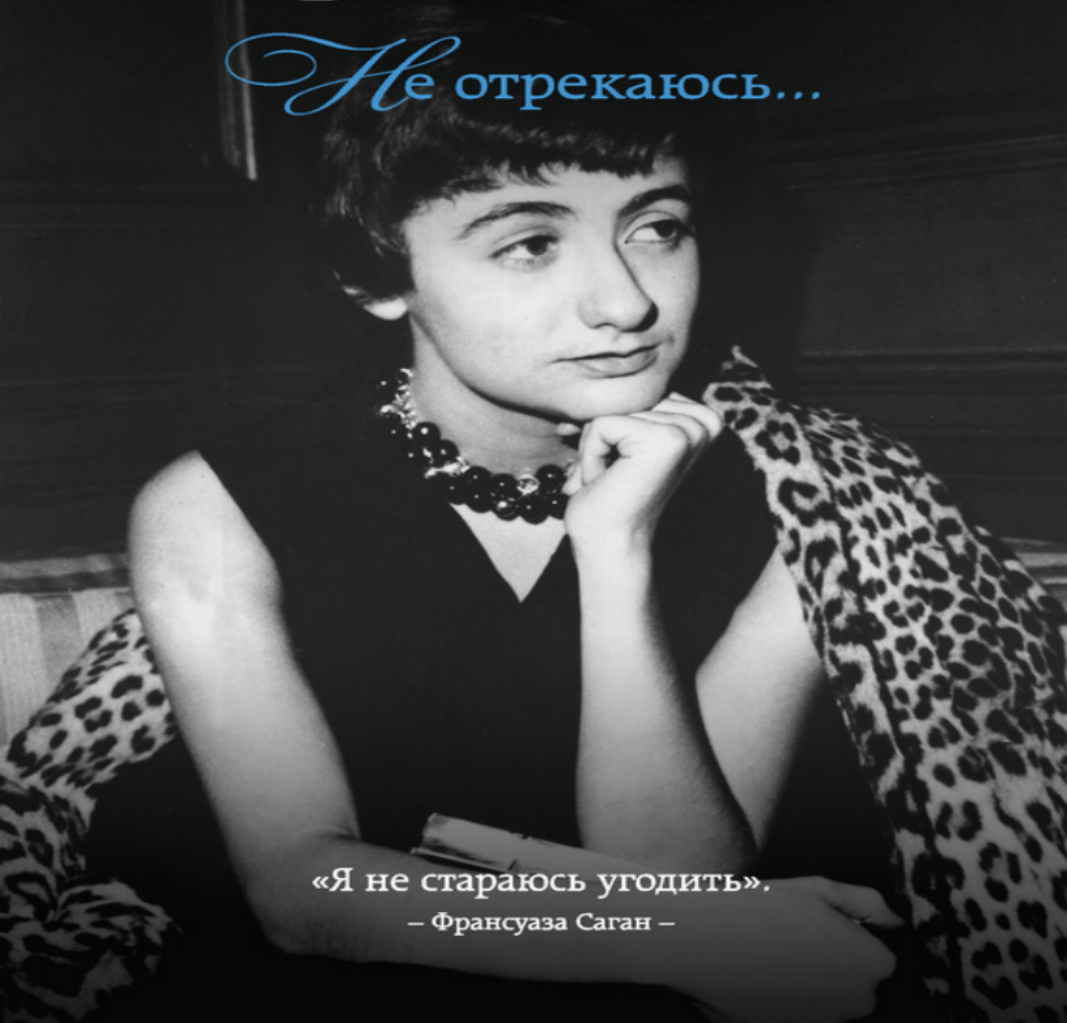


Françoise Sagan
ФРАНСУАЗА

САГАН

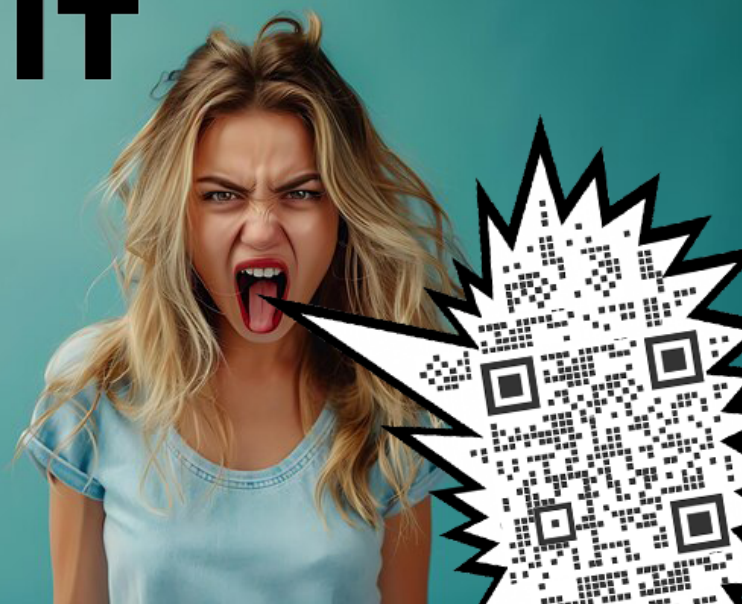
Не отрекаюсь...



«Я не стараюсь угодить».

– Франсуаза Сеган –

SHOUT
SHARE **IT**



Annotation

С чем у вас ассоциируется Франция? Несомненно, большинство людей в первую очередь назовут книги Франсуаза Саган. Ими зачитывались во все времена, на них выросло несколько поколений. Сегодня они нисколько не устарели, потому что истории любви, истории людей, переживающих подлинные чувства, устареть не могут. Франсуаза была личностью неординарной – о ней писали и «желтые» издания, и серьезные биографы. Многие пытались разгадать причины ее бешеной популярности, но никому это не удалось, потому что настоящую Франсуазу – такую, какой мы ее видим в этой книге, – знала только она сама. «Я не отрекаюсь ни от чего. Мой образ, моя легенда – в них нет никакой фальши. Я люблю делать глупости, пить, быстро ездить. Но я люблю еще многое другое, что ничуть не хуже виски и машин, например музыку и литературу... Писать надо инстинктивно, как живешь, как дышишь, не стремясь к смелости и «новизне» любой ценой». Великая Франсуаза никогда не изменяла себе, никогда не жалела о том, что сделала, и никогда не зависела от чужого мнения. Возможно, поэтому она и стала кумиром миллионов людей во всем мире.

- Франсуаза Саган



- notes



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16

- ☐ 17
- ☐ 18
- ☐ 19
- ☐ 20
- ☐ 21
- ☐ 22
- ☐ 23
- ☐ 24
- ☐ 25
- ☐ 26
- ☐ 27
- ☐ 28
- ☐ 29
- ☐ 30
- ☐ 31
- ☐ 32
- ☐ 33
- ☐ 34
- ☐ 35
- ☐ 36
- ☐ 37
- ☐ 38
- ☐ 39
- ☐ 40
- ☐ 41

Франсуаза Саган

Не отрекаюсь...

Françoise Sagan

JE NE RENIE RIEN

Je ne renie rien © Editions Stock, 2014

© Ullstein bild via Getty Images / Fotobank.ru

© Хотинская Нина, перевод на русский язык, 2014

© Издание на русском языке, оформление. ООО
«Издательство «Эксмо», 2015

* * *

В начале 1954 года восемнадцатилетняя девушка мадемуазель Куаре, взявшая псевдоним Франсуаза Саган, приносит в издательство «Жюльяр» рукопись короткого романа: «Здравствуй, грусть». Книга выходит в мае, одновременно со многими другими и без всякой рекламы. Год спустя тираж превосходит миллион экземпляров, книга переведена на двадцать пять языков, а Франсуаза Саган становится знаменитой во всем мире. Знаменитой, но, быть может, не слишком хорошо известной. Через несколько лет в опросе о современных знаменитостях большинство респондентов ответит: «Франсуаза Саган? Ах да, кинозвезда».

Да ну? Я и забыла.

Да. Дело в том, что вокруг вас сразу же сложилась легенда: деньги, виски, ночные клубы, спортивные машины... Все это действительно подходит скорее звезде, чем писателю. Вы написали книгу – и вдруг стали звездой. Каково это в двадцать лет?

Я носила мою легенду как вуалетку... Эта маска, чудесная, хоть и чуточку примитивная, отвечала моим очевидным пристрастиям: скорость, море, полночь – все, что ярко, все, что черно, все, что ведет к потере себя и тем самым позволяет себя найти. Ибо никто не переубедит меня, что, только борясь с крайностями в себе самом, со своими противоречиями, своими страстями и пристрастиями, своими выплесками, можно хоть чуть-чуть, да, именно так, совсем чуть-чуть понять, что такое жизнь. Во всяком случае моя.

Любопытно, как совместить это пристрастие к празднику, к

излишествам, о которых вы говорите, с внешней скромностью? В газетах много писали о неизменном маленьком черном платье и нитке жемчуга, которые долго оставались вашей униформой.

Праздник – это дело тайное, святое и святотатственное. Празднуют не в перьях в ночном клубе, празднуют в темноте с кем-то вместе. Что же до черного платья, это в прошлом. Теперь я люблю наряжаться, да и жемчуг свой давно потеряла.

Ни для кого не секрет, что в вашей жизни была целая эпоха, когда алкоголь стал для вас почти постоянным спутником. Что вы в нем находили?

Алкоголь всегда был для меня добрым другом. И тем, что делят с ближним, как хлеб и соль. Скажу еще, что пила я не ради забвения жизни, но ради ее ускорения. А когда слишком ускоряешься, рискуешь не вписаться в поворот (усталость, нервы и все такое). Так что, бросив пить, я заскучала, но и только. Как бы то ни было, могу и снова начать.

Итак, в 1954-м?

В 1954-м мне были предложены на выбор две роли: скандальной писательницы или буржуазной девицы, тогда как я не была ни той, ни другой.

Кем же вы были?

Я была скорее скандальной девицей и буржуазной писательницей. Единственным выходом для меня было делать то, чего мне хотелось... зайти еще дальше. Я всегда любила крайности, могла далеко зайти... И я всегда любила то, что делала. Я никогда не делала того, чего делать не любила; в общем-то, мне всегда везло, что не приходилось делать того, чего не хотелось.

Но все же и не везло порой, когда этого было не избежать?

Да, есть вещи, которые я предпочла бы избежать, – автомобильной аварии, конечно же, в первую очередь, ну, и еще кое-чего, что я делала по глупости, по молодости или зачастую свойственной молодости жестокости... Но мне в жизни не случалось оказаться в ситуации, когда приходится делать что-то действительно неприятное; я динамила мальчиков, как это делают все девочки, но никогда не делала никаких подлостей, ничего такого, за что мне было бы стыдно. Я думаю, что лучше обмануться в человеке, чем ему не доверять; это и есть, я уверена, единственное нравственное правило: всегда быть, насколько это возможно, предельно добрым и предельно открытым; и тогда ничего не страшно.

Если бы у вас была дочь, вы дали бы ей именно этот совет?

На какой-то телепередаче меня спросили, если бы у меня была дочь, хотела бы я, чтобы она повторила мой жизненный

опыт или что-то в этом роде... Я думаю, будь у меня дочь, мне бы хотелось, чтобы в восемнадцать лет она встретила мужчину, в которого влюбилась бы, как и он в нее, и чтобы они умерли вместе, дожив до восьмидесяти лет, рука в руке. Можно ли представить себе что-нибудь более романтическое? Но беда в том, что жизнь, как правило, так неромантична, что это бывает очень редко... Чаще всего жизнь совсем не такая, какой должна быть. Люди ломаются, или что-то ломается в них. Не знаю, возраст ли тому виной, усталость, характер или образ жизни. Бывают периоды, когда такие вещи накапливаются и вы, сами не зная почему, воспринимаете это как обиду.

А в вашей жизни часто так бывает?

Мне случается думать, что жизнь – это злая шутка. Если вы мало-мальски чувствительны, то постоянно живете словно с содранной кожей. Не считая того, что просто нервничаете, раздражаетесь по любому поводу. Телевизор, дурацкая статья, замечание полицейского или консьержки – и готово дело, в вас что-то мечется, зверек какой-то, и ему страшно. Белка в колесе. Тогда вы позволяете себе выпить, словно завернуться в вату, в кокон. Как принимают лекарство, чтобы утихла боль. Постоянно что-то нужно: вот в чем ужас.

И ничем нельзя помочь?

Думаю, что лучшее противоядие из всех возможных – это юмор. Взять хотя бы настроения «нового романа». Однажды, забавы ради, я начала писать «современную» пьесу вместе с Жаном Шеврье. На сцене – всего два персонажа. Дельфина Сейриг и Мишель Буке... Оба серые. Одеты в серое. Серый занавес поднимается, открывая серую комнату. Он: «Я ухожу от тебя». Длинная пауза. Она: «Ты уходишь от меня?» Он: «Да, я ухожу от тебя». Она: «У тебя нет билета, чтобы уйти от меня, у тебя нет билета на автобус». Он: «Это верно, у меня нет билета, чтобы уйти от тебя; без билета я не смогу сесть в автобус. У меня никогда и никуда не было билета». И так далее. Это называлось: «Разрыв». Недостаток юмора – это душевный изъян. Не люблю я этого. И еще не люблю людей, принимающих себя всерьез. Меня это просто из себя выводит, и я всегда вспоминаю полицейского, который остановил меня в туннеле Сен-Клу. Он мне говорит, да с такой злостью: «Шикарно вы смотрите в вашем кабриолете». Я просто озверела: «А вы... вы! Вы шикарно смотрите в вашем кепи!» «Что? Что вы сказали? Повторите! Так, сейчас вы повторите это при моем коллеге». Подходит коллега. Я послушно повторяю. Оскорбление при исполнении. Суд. Этот суд я выиграла. Вердикт был: нельзя судить человека, сказавшего полицейскому, что он шикарно смотрится...

Это обнадеживает.

Вкус к шутке утрачивается. Большое дело – позитив.

А вы позитивны?

Такова моя натура, мне всегда хочется верить, что все будет хорошо. Когда я пересматриваю какой-нибудь фильм о Жанне д'Арк, всегда говорю себе – глупо, знаю, – что она спасется... это невозможно. С Ромео и Джульеттой – та же история. Каждый раз я думаю, что послание дойдет, что все уладится. Когда слушаю «Травиату», с музыкой накатывает надежда, я, безумная, надеюсь, что Арман вернется вовремя... Только так и можно воспринимать жизнь. Как комическую оперу, уже не раз сыгранную, конец которой известен. Отчаянно надеясь – нет, конечно, не на то, что выживешь, или что у тебя есть шанс выкарабкаться, или что ты имеешь право делать, что хочется. Но тут на помощь приходит воображение. Потому что воображение – это начало понимания. Немного воображения – и вы понимаете, почему негодяй с соседней улицы убил свою маленькую дочку кочергой. Вы не приемлете этого, но понимаете. Немного воображения – и вы можете поставить себя на место другого человека и подумать: «Как-то странно он выглядел нынче вечером, не позвонить ли ему?»

А если воображения нет и вы не позвоните?

Может статься, что именно в этот вечер он собирался принять целый пузырек снотворного и ваш звонок его остановит. А может быть и так, что он пребывает в превосходном настроении и ваш звонок ему только помешает. Тогда вы будете смешны. Но мне плевать, пусть я буду смешной. Мне давно уже не четырнадцать лет. Воображение превыше уважения к человеку. Воображение – величайшая добродетель, потому что в нем задействовано все: голова, сердце, умственные способности. И добродетель эта становится редкостью. Особенно крайняя его форма – бескорыстие. Веселое и безумное бескорыстие.

...Как быстро летит время. Вот, например, «Здравствуй, грусть» – с тех пор прошло уже двадцать лет. Эти двадцать лет – что они для вас?

Досадная мелочь. Я их не ощущаю, но, может быть, я не права. Я не думаю, что прошло двадцать лет. Иногда кажется, что прошло десять, а иногда – что сорок.

А предшествующие восемнадцать лет? Давайте поговорим о юной особе, которая уже звалась Франсуазой и уже была богата, но еще не стала ни знаменитостью, ни Саган...

Я родилась 21 июня 1935 года между Кагором и Фижаком, в департаменте Лот, в Кажаре. Моя бабушка настаивала, чтобы все члены семьи появлялись на свет в одной и той же кровати. Моя

мать, мой брат, моя сестра, я сама – все мы родились в одной кровати, в одной комнате.

Каково происхождение ваших родителей?

Со стороны матери это люди, ничего никогда в жизни не делавшие. Они не были богаты, но владели мельницами, фермами и т. п. Мелкие провинциальные помещики, жившие на доходы от своих земель. Довольно скудно жившие, потому что Лот – очень бедный край. Мой дед всегда носил белый альпаговый костюм и имел телегу с лошастью, но в жизни не взял в руки лопату или вилы. Это было out of question^[1].

Со стороны отца – промышленники с севера Франции, владевшие заводами, которые разрушала каждая война.

Вы провели первые годы жизни в Кашаре?

Нет. Я родилась там в 1935-м, но между 1935-м и 1939-м уже успела поездить. Мои родители давно жили в Париже, в квартире на бульваре Мальзерб, в ней они живут и сейчас. Мы все время жили в Париже, а месяц в году проводили у бабушки. Ну, то есть дети. А родители в это время отправлялись кайфовать в Довиль на гоночной машине. Мой отец, тоже промышленник, работал на крупную компанию, какой-то трест. Он зарабатывал тогда много денег. Когда я родилась, моя мать была моложе меня нынешней. Они оба любили праздник, отдавали предпочтение «Бугатти». Разъезжали по дорогам на большой скорости.

Вот оно что!

Ох! Да...

Но попробуем все же поговорить о вас.

Говорить о себе трудно, порой присочиняешь... себя ведь помнишь плохо. Детство, например, это сложившаяся в голове картинка. Детство, которое я помню, – дом в деревне, в Веркоре, в войну. Это было время партизан, фермы горели. Мы жили в Лионе, у отца был завод в Дофине; я была слабенькая, и жили мы большей частью в деревне. Девочкой я была робкой, заикалась, пугалась любого пустяка, а перед учителем цепенела от ужаса; впоследствии это обернулось полной несовместимостью с коллежам.

У вас остались четкие воспоминания?

Из моего детства в Дофине мне помнятся божественные вечера на террасе, парк... пруд, трава.

А из вашего детства в Париже? Какое, к примеру, ваше первое воспоминание?

Я помню коридор. Коридор длиной минимум двадцать два метра в квартире моих родителей. Странная такая квартира, в духе «Семьи Буссардель»^[2], где комнаты довольно плохо убраны, а гостей бывает слишком много. У меня был ослик на колесиках,

и в этом коридоре я развивала рекордную скорость!

Опять... А аварии у вас уже тогда случались?

Сколько аварий у меня было в детстве... Я много падала... Я падаю на ровном месте. Я из тех, кто вечно травмируется.

Вы росли в богатстве. А были ли счастливы?

Я помню, что была очень счастлива, очень избалована и в то же время очень одинока. Меня окружали исключительно взрослые: родители, брат, старшая сестра. Мой мир был ограничен семьей – которую я обожала. От этого у меня осталось странное ощущение, так меня и не покинувшее: то ли я была как будто бы взрослой с самого начала, то ли, когда выросла, осталась в детстве. В результате некоторых взрослых ценностей я не понимаю и никогда не пойму – да, наверное. Для меня никогда не существовало цензуры между детством и взрослой жизнью, и это зачастую очень мешало мне жить.

Вы действительно сохранили только хорошие воспоминания о детстве, о юности, о семье?

Я помню дождливые дни, когда я часами простаивала, уткнувшись носом в окно, конечно же, помню. Помню, что была большим, никем не понятым сердцем, и еще помню войну – эти воспоминания страшноватые. Но не помню, чтобы в доме было мрачно, или холодно, или не хватало воображения, а это главное.

А годы войны, когда горели фермы?

Когда мне исполнилось четыре года, в июне 1939-го, была большая паника. Нас отправили к бабушке в Лот. Родители вернулись в Париж, так сказать, против течения, когда все оттуда бежали – это было безумие, – потому что мама забыла все свои шляпы и не могла представить, как переживет войну без шляп. А потом отец ушел воевать. Он был лейтенантом или капитаном, я уж запамтовала.

Помню, как отец, уходя, поцеловал меня в Кажаре. Брат плакал, сестра плакала, мама плакала. Понимаете, мы не знали, что это так быстро кончится. Мои воспоминания о войне довольно забавны! Отец не хотел каждый день видеть перед собой немцев, и мы поселились в свободной зоне, в Лионе, из-за учебы брата и сестры, которые были старше меня, и отец возглавил заводы в Дофине, в сердце Веркора, в Сен-Марселене, между Греноблем и Валансом, в самых беспокойных местах, какие только можно себе представить. И все ради того, чтобы уберечь детей от ужасов войны! Промашка вышла, если можно так выразиться. Мы жили там четыре-пять месяцев в году. В большом доме, который вдобавок назывался «Расстрельным». Там расстреливали людей в 1870-м.

А что там было в 1940-м?

Неприятностей у нас хватало, все время. Особенно под конец, когда немцы в тех местах совсем остервенели. Помню, например, как стояла спиной к стене с поднятыми руками... Из-за одного якобы партизана... Однажды, когда отца не было дома, он явился к нам и спросил у матери: «Немцы подходят. Можно я оставлю у вас мой фургон?» «Конечно!» – весело ответила мама. Мы и забыли об этом, пришел отец, стали говорить о том о сем. Посреди обеда мама вдруг вспомнила: «Ах да! Один парень поставил у нас свой фургон». Отец все же пошел посмотреть – а фургон-то оказался битком набит оружием. За это нас могли всех расстрелять.

Отец отогнал фургон на дальнее поле и вернулся пешком, страшно злой, ругаясь на чем свет стоит. Пришли немцы – троих их офицеров только что убили неподалеку, обыскали дом, гараж, все перерыли. Мы стояли спиной к стене, как те люди из Сен-Марселена, и дрожали. А потом тот парень преспокойно пришел забрать фургон. Наткнулся на отца, и тот – ему было тогда около сорока – задал парню по первое число. Память хранит такие вещи, потому что насилие для детей – это всегда странно, непонятно, невыносимо.

И такое происходило что ни день. Вестерн, да и только! Помню еще, как мы прятали людей у себя дома, в лионской квартире. Однажды немецкий солдат ошибся этажом и зашел к нам. Я видела, как мама очень вежливо ему отвечала, а когда он ушел, потеряла сознание.

И потом, были бомбежки. Мы не спускались в бомбоубежище: мама считала, что это бессмысленно, но однажды так грохотало, что она решила: «Наверное, все-таки для детей так будет лучше». Она в тот день сделала укладку, как сейчас помню. Мы спустились в подвал; стены тряслись: «блим... блим... блим...», и сыпалась штукатурка. Все рыдали. А мама была совершенно спокойна, и мы играли в карты! В общем, было очень весело. Я хочу сказать: совсем не страшно. Когда мы вернулись, увидели на кухне мышь. Мама упала в обморок. Она до смерти боится мышей.

А лишения? Вам случалось голодать?

Да. Не очень часто. Когда мама чудом раздобыла мешок фасоли, скорее всего, на черном рынке, мы проводили целые вечера за большим семейным столом, как будто играли в лото. Сидели все вместе перед большущей кучей фасоли и говорили: «Фасолина, жучок. Фасолина, жучок...» Два часа мы перебирали фасоль.

А вы понимали, что происходит?

Как все французы, мы следили за ходом военных действий по

карте на стене, втыкая в нее флажки. 21 июня 1941 года, в день, когда мне исполнилось шесть лет, немцы напали на Россию, и никто никогда так не радовался в мой день рождения. Все говорили: «Уф! Спасены!» Мой отец, хоть и отнюдь не был стратегом, догадывался, что немцев наконец остановят.

Какой была ваша первая школа?

Религиозный пансион при монастыре в Лионе, он назывался школой Питра. Там было чудесно: то и дело тревоги, и нас отпускали домой. Занимались мы мало. Пели, как все: «Маршал, это мы, перед тобой, спасителем Франции». Никуда от этого было не деться. Нам раздавали витаминные галеты и гематоген. И потом, я много времени проводила в деревне, потому что была малокровной. Мне полагалось есть бифштекс. Как, впрочем, и всем французам. В этой связи мне вспомнился уморительный случай. Отец раздобыл где-то на ферме цесарку для своих дорогих деток. Мы все выстроились в ряд на пороге, встречая героя: мама, служанка и мы, дети. Победным жестом открыв багажник машины, отец торжественно объявил: «Смотрите, что я привез». И цесарка, у которой были связаны только лапки, взлетела и исчезла в небе над Лионом. Отец захлопнул багажник, и мы все ушли в дом, ни слова не говоря. Двадцать лет мы смеялись над этой историей.

В общем, вы не очень от всего этого страдали.

По правде говоря, я была еще мала. И потом, мне в этом плане очень повезло, потому что мои родители умели нас защитить и в то же время были не обделены чувством юмора. Так что все было очень хорошо. Но я думаю: они переживали куда сильнее, чем показывали нам. Мама обладала даром смешить нас, даже когда было не до смеха. В Сен-Марселене был пруд, где мы купались. В 1944-м пришли американцы, и немецкие самолеты стали вновь нас бомбить. Во время одного из налетов самолет спикировал прямо на нас, когда мы обсыхали на берегу. Там был луг, деревья. Мы задали стрекача, как зайцы; я видела, как взлетает вокруг трава. Так вот, моя мама не нашла ничего лучше, чем крикнуть сестре: «Сюзанна, пожалуйста, оденься! Пожалуйста, оденься! Нельзя ходить в таком виде!» Был в ней этот изыск, который очень успокаивал.

Осталось ли у вас от той поры какое-нибудь особенно страшное воспоминание?

Это уже после. В 1945-м вышел фильм о концентрационных лагерях, который я случайно увидела. Вот это мое худшее воспоминание о войне. Я пошла посмотреть фильм про Зорро или что-то подобное, а перед ним показали журнал – эту самую хронику. Я спросила маму: «Это правда?» И она мне ответила:

«Да, увы! Чистая правда». Мне потом снились кошмары. Повсюду были фотографии концлагерей. И самые жуткие ценились выше всех. Тогда я решила про себя, наверное, еще не вполне осознанно, что никогда никому не позволю сказать плохого слова ни о еврее, ни об угнетенном.

Где вы были в 1944-м?

Все там же, в Дофине. В один прекрасный день к нам явились на танках белокурые загорелые джентльмены. Стояла такая дивная погода. Чудо из чудес – эти парни в танках. Всеобщее счастье. И еще я помню, как обрили одну женщину. Сен-Марселен – маленькая деревушка. Но надо было хоть кому-то отрезать волосы. Для меня, как для всех детей, не существовало нюансов: с самого начала я знала, что немцы плохие, а англичане, американцы и партизаны хорошие. И когда этой женщине обрили голову и повели ее по улице, а моя мама возмутилась и закричала: «Как вы можете? Какой позор! Вы ничем не лучше немцев! Вы поступаете как они!» – я подумала про себя: «Надо же! Все, оказывается, не так просто». Тогда впервые Добро представилось мне куда более неоднозначным, чем я думала.

А потом?

Потом, к великому облегчению мамы, которая, надо полагать, в Лионе очень скучала, мы вернулись в Париж. В мирное время Лион – не очень-то веселый город. И жизнь пошла своим чередом, как раньше. Брат поступил в коллеж иезуитов. Сестра, которая в Лионе училась в художественной школе, продолжила занятия живописью. А меня определили в заведение напротив под названием школа Луизы де Беттиньи.

Я поступила не то в восьмой, не то в девятый класс и проучилась там четыре года, до пятого. Преподавали там старые девы, как правило, очень милые. Перед уроками мы молились. Это было обязательно для всех. Зато потом резвились: если уроки были занимательные, слушали, а не хотели – не слушали. Я слушала уроки французского, когда они были интересные, иногда – уроки истории, и, собственно, все. Слушала, когда мне было интересно. Знаете, есть очень хорошие учителя, у которых и уроки математики хороши, а есть очень плохие, так у них и уроки философии плохи.

А! Помню, как возвращалась домой пешком, таща за собой ранец за шнурок. Мама требовала, чтобы я надевала зимой теплые носки, но вы же знаете, девочки, даже маленькие, уже модницы, – так я снимала эти носки в прихожей, надевала тонкие носочки и в них бежала в школу. А вернувшись, снова надевала носки, чтобы не попасться. Я училась экстерном, школа была рядом, только улицу перейти, очень удобно. Я была не подарок.

Кончилось тем, что меня выставили. Я повесила бюст Мольера за шею на веревочной петле на дверь, потому что у нас по Мольеру был особенно скучный урок. И еще, играя в мяч, дала затрещину, уж не помню кому. В общем, девчоночьи приключения. И так боялась сказать об этом маме – мне было лет двенадцать-тринадцать, – что спрятала уведомление об исключении. Это было месяца за три до каникул, и все это время я болталась по Парижу. Слишком далеко не уходила, побаивалась! Я вставала каждое утро в восемь часов, такая деловая, брала ранец и... не шла в школу.

А табель на подпись из школы не присылали?

Только раз в триместр. Когда родители удивились, что не получили табель, я сказала с невинным видом: «Не понимаю, в чем дело». А мы уже сидели на чемоданах. «Но ты перешла в следующий класс?» «Конечно, я перешла в следующий класс». Мне хотелось провести каникулы без забот. Осенью: «Ты готова? – сказала мне мама. – Пора идти в школу». И я пошла. Не могло же это продолжаться еще год. Пошла, будто так и надо, а сама дрожала как осиновый лист. Встретили меня, как и следовало ожидать.

«Как? Что вы здесь делаете? Вас уже три месяца как исключили!» Тогда я пошла домой и сказала отцу: «Говорят, меня исключили». Он позвонил и закатил ужасный скандал. Вот так я выкрутилась. А это было чудесно. Весна, мне лет двенадцать-тринадцать. Я гуляла. Доезжала на автобусе до площади Конкорд. Выходила на набережные и читала там часами. Читала и разговаривала с людьми на баржах.

Что вы читали в детстве? Назовите хотя бы то, что больше всего запомнилось.

Читала что попало. Меня сильно потрясла история лошади, умирающей на могиле хозяина. В ту пору я вообще любила мелодраматические истории. Помню, как ни странно, что прочла «Шабаш» Мориса Сакса^[3]. Любопытно, правда?

Сколько вам тогда было лет?

Тринадцать или четырнадцать. Знаете, я была развита не по годам. Уже многое прочла. Я начала читать в двенадцать лет.

Родители следили за тем, что вы читаете?

О! Они не заморачивались по этому поводу. Когда мне было года три-четыре, я брала книги и часами сидела на стуле, «читая» вверх ногами, и каждый раз вежливо спрашивала маму: «Можно?» А она мне говорила: «Да, да, читай».

В то лето, во всяком случае, я прочла «Шабаш» в числе прочего. И еще всего Кокто, Сартра, Камю. Все, что под руку попадалось. Я не могла остановиться. Записалась в библиотеку

недалеко от дома, и бедная библиотечка говорила мне: «Да вы же заболели!» Я ехала в автобусе – два билета – до площади Конкорд. Сидела всегда в одном и том же месте и читала, а потом возвращалась автобусом, как паинька, с ранцем в руке... Еще я гуляла по кварталу Марсе. С ума сойти, сколько я ходила по Парижу той весной.

Сразу после этого вас приняли в монастырь Уазо...

Я пробыла там три месяца, и меня исключили за «недостаток духовности». Там было смертельно скучно, и потом, я к тому времени уже была более или менее атеисткой. Прочла Камю и прочих. Да, и Превера. Я наизусть читала Превера вслух: «Бог – большой кролик», «Отче наш, сущий на небесах, оставайся на небе, а мы останемся на земле, которая иногда бывает такой прекрасной». В монастыре на такие вещи смотрят косо. Каждую пятницу в семь часов, по дороге к заутрене, я встречала полуночников, всех гуляк с улицы Берри и с улицы Понтье, более или менее удобно устроившихся у мусорных ящиков, в смокингах, с бутылками шампанского в руках, очень в духе Скотта Фицджеральда, и говорила себе: «Бог ты мой! Им живется куда веселее, чем мне!» Они громко смеялись, говорили о том, что будут делать днем, о бегах, да о чем угодно, а я... мне предстояли религиозные уроки на целых четыре часа! Я думала: «Это несправедливо».

Где же вы учились после Уазо?

Когда меня исключили из Уазо, родители все-таки всполошились и записали меня в школу Аттемер. Пропущу еще два или три монастыря, в том числе Сакре-Кер в Гренобле. Школа Аттемер для меня – не жизнь, а малина. Дорога туда – одно удовольствие: бульвар Мальзерб, авеню Вилье, улица Константинополя и железнодорожные пути, которые надо было пересечь. И улица Лондона. Я ходила обедать со всей компанией в «Биар», быстро самообслуживания. А потом весело бежала домой.

Но экзамены на степень бакалавра вы все-таки успешно сдали?

Это сильно сказано. В том смысле, что я дважды сдавала письменный, благодаря моему французскому, легко, а вот с устными все было не так гладко. Оба раза я заваливала их в июльскую сессию. Какая промышленность развита в департаменте Вар? Я понятия не имела. Кроме того, я не знала ни слова по-английски и один раз, разозленная собственным бессилием, разыграла перед экзаменаторшей целую пантомиму, чтобы показать Макбета: я грозила кинжалом, расхаживала вокруг нее со зловещим видом, вскочила на кафедру, зарезала перед ней невинных детей – в общем, все сыграла. Она была ошеломлена,

пришла в ужас и поставила мне «тройку»! Рассерженные родители на каникулах месяц держали меня на Баскском побережье, а потом отправили в институт Ментенон на полтора месяца для подготовки к октябрьской сессии.

Там я открыла для себя силу слабости. Я терпеть не могла ходить в крытый бассейн Молитор, он был совсем рядом, но там воняло хлоркой. Так вот, я притворилась, что не переношу хлорки, и каждый раз падала в обморок. Всегда какая-нибудь девочка кричала: «Мадемуазель, мадемуазель, тут мадемуазель Куаре потеряла сознание! Это от хлорки – она ее не переносит». «Боже мой, боже мой! – ахала мадемуазель. – Выведите ее на воздух». И – опля! – мы оказывались на свободе (плавание продолжалось час) и бежали в соседнее кафе. Мы глотали мартини, как будто это был смертельный яд!

А после экзаменов – какой была студентка Франсуаза Саган?

В Сорбонне – это уже была вольница. На лекции не войти – аудитории битком набиты, народу столько, что невозможно записывать, что тут подделаешь? Вот мы и болтались с такими же мальчишками и девчонками туда-сюда по бульвару Сен-Мишель, беседуя о политике, о Боге и прочем. Все мы были горячие головы: только об этом спорили, о политике, о метафизике.

Вы уже тогда вели светскую жизнь?

Лет в пятнадцать-шестнадцать я начала бывать в некоторых погребках Сен-Жермен-де-Пре. Мы танцевали там вечерами, с пяти до семи, по четвергам, субботам и воскресеньям, с мальчишками лет семнадцати-восемнадцати. В клубе Вье-Коломбье, помнится, играл тогда джаз Ревейоти. Это было чудесно. А потом мы бегом бежали на автобус, боясь, что нам попадет за опоздание. Приходили домой, запыхавшись, в восемь часов вместо шести...

Это был серьезный проступок?

Да нет. Родителей я не боялась, они были добрые, и я знала, что никакой трагедии не будет. Но все равно за каждый лишний, словно бы украденный, танец ждал выговор, а я всегда терпеть не могла сцен.

До какой степени родители уважали вашу свободу? Вы рано стали «свободной девушкой»? В каком возрасте?

В шестнадцать лет я должна была приходить домой не позже двенадцати или часа, говорить, куда я иду и с кем. Зато у меня были друзья, которые мне нравились. Я никогда не была «свободной» в этом смысле. Ведь ты свободен, только когда разделяешь страсть или когда вовсе нет страсти. А в семнадцать лет обычно переживают неразделенные страсти.

В каком возрасте вы познали наслаждение?

Какое?

Прекрасный ответ на глупый вопрос – глупый, но «коммерческий», как принято говорить. А в ту пору, о которой идет речь, вы уже писали?

Я тогда писала пьесы, совершенно нечитаемые, стихи, которые были еще хуже, и новеллы тоже. Бегала по редакциям с новеллами, этакими затейливыми историями! Мне все дружно отказывали – и были правы! Я тогда повидала много секретарей, и все они были очень любезны со мной, эти секретари...

А потом родилась книга «Здравствуй, грусть», «Жюльяр» ее приняло, вот так все и началось. Мне восемнадцать лет, я бакалавр со второй попытки и только что провалила экзамены за подготовительный курс.

Многие молодые писатели жалуются на первое общение с издателями. А вам это трудно далось?

Молодых девушек объединяет общая черта: все они лгуньи или, во всяком случае, мифоманки. Я сначала убедила мое окружение, что пишу роман, и так завралась, что, в конце концов, действительно его написала. Я отложила его – спрятала в ящик стола, мне казалось, что это никуда не годится. Это было летом, мы отдыхали в деревне, и вся семья издевалась надо мной из-за проваленных экзаменов. Тогда я вернулась в Париж, где оставался отец, попросила одну подругу перепечатать роман и послала рукопись в «Жюльяр» и в «Плон». Жюльяр прислал мне телеграмму, потому что мой телефон не работал – как всегда бывает в таких случаях: «Просьба срочно позвонить в издательский дом “Жюльяр”». Мне удалось связаться с ним в два часа пополудни, и он сказал, что хочет опубликовать мою книгу, – для меня это был шок. Помню, я выпила большую рюмку коньяка. В пять я отправилась на встречу с издателем. Он был очень мил, говорил, что ему очень понравилась моя книга, выражал надежду, что она не автобиографична, а то ведь обычно других-то и не пишут. Я заверила его, что нет, что такого рода драм в моей личной жизни не было. Он пришел в восторг, подтвердил, что берет роман, и я вышла оттуда в таком же восторге, как и он.

А что на это сказала ваша семья?

Когда я объявила дома, что я писательница, мама ответила: «Ты бы лучше приходила к обеду вовремя и причесалась как следует», а отец расхохотался. Мне хотелось доказать им, что и я кое на что способна; я ничего им не показывала, пока не получила гранки. Прочитав их, они сказали мне: «Что это тебе вздумалось писать такие истории? – А написано неплохо». Мы в нашей семье всегда очень вежливы друг с другом, и это приятно.

Вы сказали, что начали с «затейливых» новелл, а сюжет

«Здравствуй, грусть» очень удивил вашу семью. Откуда вы брали темы? Из книг, рассказов, встреч?

Из мечтаний, печалей, вымыслов... как и сейчас.

Вы могли бы побольше рассказать о ваших родителях?

Мой отец – один из самых остроумных и своеобразных людей, каких я встречала. В 1954 году один журналист спросил его однажды вечером: «Вы позволите мне похитить вашу дочь на время ужина?» (Ему давно пора было позволять это мне!) «Мсье, – строго ответил ему отец, – я разрешаю вам похитить мою дочь, но при одном условии: что вы никогда мне ее не вернете». А потом, повернувшись ко мне: «Иди, детка, но смотри! В половине одиннадцатого и ни минутой позже». Мсье был огорошен... Отец вечно шутит; и еще он обладает исключительным хладнокровием. Как-то раз, опоздав на званый ужин, он вошел, весело распевая: «Я бегу галопом... галопом!» Но при виде ошеломленных лиц гостей он понял, что ошибся этажом, и, ничуть не смутившись, ретировался с песней: «Убегаю галопом... галопом!»

А ваша мать?

Моя мать – это идеал, это чудесная подруга. Она нежная, застенчивая и обладает чувством юмора. Любит принимать гостей. Вечно приглашает человек по пятьдесят на свою голову. Но глава семьи – отец. Они всегда уважали мою свободу поступать и думать по своему усмотрению. Отец, мать, брат и сестра – всех четверых я бесконечно люблю и не могу представить ничего хуже, чем потерять их.

Вы с братом были очень близки. Какое-то время, после успеха, вы даже долго жили вместе. Это не доставляло никаких неудобств ни вам, ни кому-либо из вашего окружения?

Это доставляло неудобство нашим друзьям, потому что нас действительно было не разлить водой. Я пожертвовала бы ради брата любым мужчиной, а он ради меня – любой женщиной. Что бы ни случилось, мы всегда смеялись, оказавшись вместе.

Итак, выходит «Здравствуй, грусть», и сразу успех, фотографии, интервью...

Когда вышла «Здравствуй, грусть», мне было восемнадцать лет. Меня просто затравили фотографы и журналисты со своими вопросами. Все они требовали, так сказать, анекдотов. Анекдотов?! Навскидку они в голову не приходят. На вечеринке с друзьями еще куда ни шло, но так! И я говорила: «Анекдот? Нет... не знаю, ничего не припоминаю...» И больше не раскрывала рта. Я была нема, и про меня стали говорить, что я печальна. Это неправда, но что мне было делать в тех обстоятельствах?

Что было, по-вашему, главной причиной такого фантастического успеха? Очень мало книг во Франции расхвалили

миллионным тиражом.

Толчком послужила Премия критиков; с этого момента началась коррида. Эта премия сыграла большую роль, она по-настоящему «раскрутила» книгу. Был коктейль, журналисты, фотографы, мой возраст их поразил, они увидели в этом хороший материал для статей и фотографий. Вообще, мне кажется, литературные премии – это что-то вроде лотереи, за редким исключением. Да, они полезны тем, кто их получает. Это позволяет им год или два работать, не имея материальных забот. А так, я не думаю, что это кому-нибудь нужно.

Тогда же появилась статья в «Фигаро», в которой Мориак назвал меня «прелестным маленьким чудовищем», кажется, так. А я, разумеется, вовсе не была ни прелестной, ни маленькой, ни тем более чудовищем... Я была самой обыкновенной девушкой, любила жить, смеяться, танцевать, видаться с друзьями, слушать музыку, читать. В общем, ничего особенного.

И вы сами не можете объяснить этот практически беспрецедентный успех?

Все обрушилось на меня внезапно, как волна. Я первая была удивлена успехом; думаю, реклама сыграла немаловажную роль, и потом, моя книга легко читалась, и у читателя не складывалось ощущения, что до него снисходят. Но, в сущности, у меня нет этому серьезного объяснения. Реклама конечно же всего не объясняет; если бы еще я «пошла» только у буржуазии... но нет же. Так в чем дело? Было, наверное, что-то еще... Ох! Нет, не знаю.

Говорили, что книгу прославил скандал. Что несколькими годами позже она прошла бы незамеченной...

Вне всякого сомнения, сегодня «Здравствуй, грусть» не вызвала бы никакого скандала. В то время это была простенькая история о девушке, занимающейся любовью с молодым человеком в круговерти сердечных проблем и не задающей нравственными вопросами. В наши дни скандал бы вызвали как раз нравственные вопросы, последствия плотского акта. Тогда все было наоборот; сегодня это безнадежно устарело.

Если книга продается большими тиражами, значит, она что-то в людях затрагивает. 1954 год – это был пик того периода, когда очень широкая публика узнавала себя в книгах Сартра и Камю. А ведь много позже после выхода «Здравствуй, грусть» кто-то (Жан-Пьер Фэй) сказал: «Роман абсурда был вульгаризирован сагановской версией».

Абсурдность жизни не дожидалась ни Сартра, ни Камю (ни меня), чтобы войти в роман. И дураки тоже не дожидались нашего века, чтобы отпускать такого рода комментарии.

Вы действительно сознавали тогда, что стали писателем? Что вы думали? Что делали?

Я всегда думала, что стала писателем, но перед этим успехом, этим феноменом снежного кома, пестрого и жуткого, я была бессильна. Мне оставалось только пригнуться и ждать, когда это пройдет... Поначалу я от этого страдала, ведь кому понравится, когда на него показывают пальцем, словно на вещь?... Хочется быть как все... Меня выставили на всеобщее обозрение... Что мне было особенно неприятно – не критика, не отклики, а эта манера говорить обо мне как о вещи. Когда я получила Премию критиков, у меня случился миг прозрения (среди всех этих людей, толпившихся вокруг меня, этих фотографов, этого нагнетания безумия), я вдруг сказала себе: «Смотри-ка, вот это и называется слава». Один только миг сияло для меня так называемое солнце славы. После него затянули облака, но в тот миг я сказала себе: «Смотри-ка, это и есть слава». И, как ни странно, большой радости не испытывала; я уже знала, что слава – это вопросы и ответы и необходимость лукавить и юлить. Я встретила с этим слишком рано. В восемнадцать лет и на 188 страницах... Я чувствовала себя почти виноватой и в то же время абсолютно безответственной. Моя слава была как взрыв.

И родилась легенда...

Я стала товаром, вещью: феномен Саган, миф Саган... и мне было стыдно. Я входила в рестораны, опустив голову; когда меня узнавали, шарахалась. Хочется же, чтобы вас считали нормальным человеком и нормально с вами разговаривали, а не спрашивали без конца, любите ли вы лапшу и тому подобные банальности. Быть неинтересной темой неинтересной истории – это угнетает. Я стала пленницей персонажа. И никакой возможности бежать из плена. На всю жизнь обречена на короткие и скучные связи без изюминки с партнерами, нагружившимися спиртным, лопочущими английские фразы, изрекающими заумные афоризмы и безмозглыми, как лабораторные цыплята... Все это из профессиональной необходимости, если можно так выразиться.

Все упорно хотели видеть во мне эту героиню комиксов, которую звали Саган. Со мной только и говорили, что о деньгах, машинах и виски, я получала по три-четыре оскорбительных письма в неделю. На меня, впрочем, повесили несколько разных ярлыков: для одних я была развратной и скандальной девицей, что ни день творившей мерзости в Париже, преимущественно в ночное время; для других – маленьким перепуганным существом, не понимающим, что с ним случилось; для третьих – бесстыдницей, за которую написал книгу кто-то другой;

и наконец, для некоторых я была Саган-сумасбродкой! Велико было искушение опровергнуть все это, быть спокойной, целомудренной, сдержанной, наперекор этому чудовищу, которое проецировали на меня, чудовищу о тысяче граней. Один английский журналист однажды позабавился, воссоздав то, что он назвал «арсеналом Саган»: виски, пишущая машинка, флакон таблеток для пищеварения, труды Маркса (Карла, не Граучо) и «Астон Мартин». Пишущая машинка – ладно. Виски – тоже согласна. Таблетки? Никогда их не принимаю. Карла Маркса знаю очень плохо. «Астон Мартин» – да, был он у меня, на меня же свалился...

Борис Виан сказал: «Мы всегда маскируемся и можем до того домаскироваться, что нечего больше и маскировать...»

Довольно долго до меня доходило, что мне нужна маска, чтобы скрыть лицо. Я надела маску моей легенды, и она перестала мешать мне жить. Я любила быструю езду, любила кутить, хоть это и была уловка, способ пестротой обмануть одиночество, и потом, я любила веселье, встречи. Это была маска – и все же немножко я; в тех условиях это было идеально. Особых усилий не требовалось. Впрочем, маски – вы же знаете, что скрывается за ними? Ничего удивительного, просто человек.

Вы прятались...

Скажем так: я никогда не говорила правды о себе, я лишь придерживалась легенды, той, которую мне сотворили. У каждого есть легенда, думала я, более или менее глупая, лучше так, чем показаться в переднике на кухне! И потом, эта ли, другая ли... Еще я думала, что куда хуже, когда люди сами в них верят и пытаются на самом деле походить на свою легенду. Результат ужасен. Этому нельзя поддаваться. Я поставила бы на себе крест, если бы обо мне могли сказать: «С тех пор как эта девушка написала три строчки, она стала решительно невыносима!»

А потом наконец свершилось: я на все наплевала. Я почувствовала себя свободной от всех публичных обязанностей. Наверно, накопилось столько глупостей, что настал момент, когда чаша, как говорится, переполнилась. Я вырвалась из плена чудовища Саган.

И потом, я видела столько людей, растерявшихся, опустивших руки перед жизнью, что сказала себе: наверное, все-таки нужно сделать усилие. Все это было так необычайно, новая жизнь, тиражи, это казалось почти подарком. Много лет я как бы извинялась, говоря себе: «Ну да, что я могу сделать, это социологический феномен» и прочее в том же духе. А потом, наконец, решила: «К черту! Нечего мне извиняться. Как есть, так и есть».

И теперь все легенды на мой счет мне глубоко безразличны. Я знаю, что в легендах правды нет. Я предпочитаю жизнь – жизнь реальную.

Впрочем, после «Здравствуй, грусть» из разряда литературной старлетки я потихоньку перешла – по крайней мере, надеюсь, для некоторых – в разряд «человека пишущего». Я прошла через горнило славы, и теперь у меня была профессия. Пикассо сказал: «Очень много времени нужно, чтобы стать молодым». Мне на это понадобился добрый десяток лет. К тому же я никогда не чувствовала себя представительницей молодежи, так же, как Сартр и Мориак не являются представителями своего поколения. Я просто любила жить жизнью молоденькой девушки моих лет... веселиться, смеяться.

И до автомобильной аварии я чувствовала себя неуязвимой. Я никогда не думала, что со мной может случиться такое, не представляла даже, что могу заболеть. И вдруг – катастрофа.

Это было в 1956–1957 годах? Что же, собственно, произошло?

Машина заюзила по гравию и вылетела в кювет. Моих друзей выбросило, а меня придавило всем весом автомобиля. У меня была разбита голова, сломаны одиннадцать ребер, лопатка, обе руки, смещены два позвонка. В общем, в Крее меня уже соборовали, но брат, который не мог смириться с мыслью, что я умру, привез меня в Париж в машине «Скорой помощи» в сопровождении двух мотоциклов. Я, разумеется, ничего этого не помню, какое там, я не помню даже, что было накануне аварии. Я пришла в себя через два дня, забыв все начисто. Второй раз в жизни я оказалась в больнице и подумала сначала, что мне, наверно, опять вырезали аппендикс. По-настоящему лихо стало три недели спустя. Мне сделали кучу операций, очень тяжелых, а потом попытались поставить на ноги – и одна нога отъехала далеко вправо. Она не принадлежала моему телу. Вот тут-то я подумала, что останусь калекой, и очень, очень испугалась. Только через три месяца я снова смогла ходить. Болезнь – страшная штука, я этого и не представляла себе до аварии. Тут никто ничем не может вам помочь. Когда у вас все болит в течение года – это много. Шамфор^[4] говорил: «Господи, избавь меня от физических мук, с душевными я сам справлюсь». Это во многом стало моим девизом.

Была авария, а потом последствия аварии...

С ногами все обошлось, но был еще опыт клиники Гарша. В больнице меня накачали каким-то новым обезболивающим, да так, что вышла я оттуда совершенно одурманенной. Без реакций, вроде как животное, которому перерезали часть нервов. Я даже плакала, сама не зная почему: такое было со мной впервые в

жизни! Пришлось положить меня в клинику на курс дезинтоксикации, и врачи решили, что лечиться я буду сама: я должна была постепенно уменьшать дозу. После этой долгой, изнурительной, тошнотворной борьбы я мало-мальски заужала себя – чего тоже никогда со мной не случалось. Говорят, я тогда вела себя мужественно; оказалось, что я сильнее, чем думала. После клиники стало еще хуже, потому что лекарства больше не было, а я еще жестоко мучилась. Со временем все прошло благодаря горячим ваннам, пешим прогулкам и витамину В. Я так боялась остаться калекой, что подумывала, если не обойдется, о самоубийстве.

И вы бы это сделали?

Думаю, сделала бы. Я была достаточно сильна, чтобы вынести все мыслимые и немыслимые лечения, но у меня никогда не хватило бы сил жить в инвалидной коляске, этого я очень боюсь. Когда вы здоровы, это кажется так естественно – бегать по улицам. Но когда вы не уверены, что сможете собрать себя из кусочков, – впору обезуметь от ужаса. Болезнь – это невозможность свободы, все непосильно, тебя просто нет.

И все же, несмотря ни на что, я предпочитаю свою жизнь с ее взлетами и падениями. Ровная дорога, спокойная жизнь в довольстве – это не для меня. Я уже говорила, что жизнь – злая шутка. Это вовсе не значит, что я не оптимистка. Злая – это драма, а шутка – то, что забавно. Забавная драма – это и есть жизнь, не так ли? Я трезво и весело смотрю на абсурд существования. Вот вам и определение, какое есть...

И деньги. Объясните нам про деньги.

Будь я в жизни одна, думаю, что не стала бы никому ничего объяснять... Я дала множество интервью, и во всех вышедших статьях речь шла только о деньгах. При виде имени «Саган» в некоторых газетах я прихожу в ужас. Что же тогда должны чувствовать читатели... Как бы то ни было, что бы я ни сказала, что бы ни сделала, для всех я – персонаж... «Я всегда в конце концов становлюсь такой, какой меня хотят видеть», – говорит моя героиня в «Сиреновом платье Валентины». Я – женщина, которая проматывает сотни миллионов, давит старушек на «Ягуаре», с циничным удовольствием шокирует публику и проводит всю жизнь в ночных заведениях. Но нет, этой женщины не существует. Я никогда не могла понять, почему никто не обращает внимания на страницы моих книг, которые опровергают это представление обо мне.

Может быть, потому что эти страницы никто не хочет прочесть...

В восемнадцать лет я была богата и знаменита: мне этого не

простили. Чужой успех многим трудно переварить. Меня числят не писателем, но коммерческим феноменом. Я, конечно, занимаю определенное место в издательском мире, но в литературе? Не знаю, не могу сказать...

А после второго романа, «Смутная улыбка», в 1956-м, и третьего, «Через месяц, через год» в 1957-м, лучше не стало?

Ох! Нет. Они, знаете ли, тоже очень хорошо продавались. Каждая публикация напоминала налоговую декларацию. Каждый раз я в глубине души надеялась, что со мной заговорят о литературе. Но нет! Речь шла только о моем банковском счете...

Не знаю, впрочем, чего мне больше не могут простить – что я заработала много денег или что их растранижила. Мне кажется, если бы я купила сети закусочных, обеспечила бы себя на старость, люди были бы меньше шокированы. А я терпеть не могу у людей этого чувства уверенности в завтрашнем дне, успокоенности. Мне греют душу только крайности, умственные и физические. Меня привлекает все то, что тревожит. Я не ищу уверенности в завтрашнем дне, не знаю даже, нравится мне она или нет. Я не собственница и не люблю экономить деньги.

Что же тогда деньги для вас значат?

В современном обществе они дают защиту и свободу. Возможность не стоять в очереди под дождем в ожидании автобуса, сесть в самолет, чтобы провести несколько дней на солнышке. Мне выпало счастье – настоящее, заслуженное ли, нет ли – заработать деньги моими книгами. Это привилегия. Пусть так, я за нее не краснею, мне нечего стыдиться. Я могла бы сказать, что желаю этой привилегии каждому – я так же, как все, чувствительна к чужим невзгодам, – но это было бы куда как легко и немного неприлично.

Значит?..

Я хочу жить полной жизнью, но лично у меня это никогда не бывает надолго. Значит, надо объединить необходимые условия, чтобы это могло длиться, а одно из таких условий – не жить в бедности. Деньги – груз, мешающий набрать высоту. Это хороший слуга и плохой хозяин. И они имеют одинаковую власть и над теми, у кого они есть, и над теми, у кого их нет. Я их, разумеется, не презираю, но и не люблю. От них зависит наша возможность быть свободными.

Быть бескорыстными.

Бескорыстие, к несчастью, исчезло из наших нравов. Все меньше и меньше встретишь людей, готовых что-то сделать «просто так», совершить бескорыстный поступок, чистый поступок, – из тех, которые как раз обладают колоссальной силой. Франция переживает период чудовищной вульгарности,

все зиждется на деньгах, и нет больше истинной порядочности. В кругах, где я иногда бываю, есть только три темы для разговоров: прежде всего личная жизнь (кто с кем спит), потом большая политика через призму мелких интересов (последняя речь президента понизит наши доходы) и, наконец, бахвальство (я недавно высмеял мсье имярек). В общем, вопиющая некультурность. Но это не моя среда. Это даже не традиционная буржуазия: я никогда не слышала подобных разговоров у моих родителей.

С другой стороны, мне кажется, что люди успокаиваются, когда закосневают. В результате они сами не дают развиваться своим возможностям, загоняя себя в определенные рамки. Я же – наоборот: когда я чувствую в себе что-то застывшее, устоявшееся, закосневшее, меня охватывает паника. Словно между мной и миром вырастает преграда. Я не люблю привычек, обжитых мест: я постоянно переезжаю, это у меня просто мания. Материальных забот я тоже чуюсь до маниакальности. Когда меня спрашивают, что приготовить на обед, этот простой вопрос повергает меня в бездны недоумения, тоски и тревоги. Мне приятно пользоваться деньгами, но, хоть и говорят, что деньги любят счет, мне этот счет холоден и скучен, как все материальные проблемы.

А сегодня, в 1974-м, как вы живете?

Благодаря моему издателю Анри Фламариону я хорошо живу моим пером. Он содержит меня, обеспечивает, а когда книга успешно расходуется, я ему все возмещаю. У меня отобрали чековую книжку, потому что я только и делала, что швыряла чеки направо и налево, и нажила, в конце концов, «денежные затруднения». Меня препоручили кому-то, кто оплачивает за меня все: хлеб насущный, страховку машин, дом. Когда я ропщу, мне присылают тысячу франков карманных денег. И на этом кончаются мои отношения с бытом.

У вас нет никакого уважения к деньгам?

Никакого. Мне ненавистно не то, что они могут дать, но отношения, которые они устанавливают между людьми, и жизнь, на которую они обрекают большинство французов. У людей совсем нет времени, их поджигает со всех сторон: денежные проблемы, работа, семья, транспорт. Голова у них забита, в метро они встречают взгляды усталых незнакомцев. А потом возвращаются домой, к детям и телевизору, в жалкий тесный мирок.

А роскошь?

Самая большая роскошь в наши дни – это время. Общество крадет время у людей.

Но деньги, которые вы заработали, изменили вас...

Конечно, деньги, которые я получила за мои романы, изменили мой образ жизни. Но изменили ли они мое отношение к себе самой, к моему творчеству, к моим друзьям? Не думаю.

Богатство вас не интересовало?

Я не гналась за богатством, скорее мне нужен был шанс. В восемнадцать лет я обросла легендой, не имевшей ко мне отношения: спортивные машины, Эпи-Клуб и Сен-Тропе, виски стаканами... Неприятный ярлык. Я выбрала «праздник», потому что таково было мое глубинное желание. Но вот уже много лет меня преследует звяканье льдинок в стакане, треск сминаемого железа, стук пишущей машинки, слухи о браках, разводах и так далее – в общем, все, что публика зовет «жизнью художника». Долгое время это была удобная маска. И потом, доля истины в этом есть: я любила «Феррари», алкоголь, ночные заведения. В «Ангеле-хранителе» я позабавилась, издеваясь над образом, который создали мне газеты. Там у меня и виски рекой, и деньги, и игра, и машины; роскошь, но умноженная пятнадцатикратно!

Вы имеете представление, сколько вы заработали? И потратили?

Мои первые романы принесли мне колоссальные суммы. Все мои деньги были у Жюльера, и мне достаточно было позвонить, чтобы он прислал чек. Но только съехав от родителей, в двадцать лет, я поняла, что у меня чудовищно много денег. Я купила квартиру на улице Гренель, где жила вместе с братом; там постоянно ошивалась толпа людей, которых я запросто могла содержать; я могла купить билет на самолет, чтобы провести вечерок в Сен-Тропе, покупала машины, яхты, кутила, и многочисленные друзья жили за мой счет, как будто так и надо. Всего этого просто не существовало, у меня была чековая книжка, деньги улетали: удобнее не придумаешь. Мне было двадцать лет, эти деньги не укладывались у меня в голове. Я никогда их не считала, я посылала большие суммы людям, которых знать не знала, получая письма вроде: «Мне нужны деньги, чтобы купить стиральную машину»; посылала нуждающимся семьям. Просто выписывала чек: удобно и так по-детски. Я и сегодня не знаю счета деньгам, а в восемнадцать лет была к ним совершенно равнодушна. Тем более что никогда не испытывала в них нужды. Будь у меня несчастливое детство, может быть, я и научилась бы считать, экономить, но с моим очень счастливым детством я имела о деньгах абсолютно превратное представление. Тем более что и родители мои всегда были транжирами. Впрочем, не думайте, что я вела совсем уж разгульную жизнь. О той поре в Сен-Тропе слагают легенды, а нам было просто весело. Там были

Вадим, Кристиан Маркан, я, целая орава людей, Фифи с компанией, и все мы загорали на солнышке. Мы были молоды и беззаботны.

Так все же сколько?

Я промотала сотни миллионов старыми. Как? Не знаю. Жизнь... Я ничего такого не покупала, я по натуре не собственница. Все мои вложения кончались пшиком: яхты тонули, а в квартирах приходилось то и дело менять ковровое покрытие.

Еще вы играли...

Да, я много играла. Я заложила дом, и в какой-то момент у меня не осталось на банковском счете ни франка. Неприятное положение, а у меня уже был сын, Дени. Тогда я пережила настоящий нравственный кризис и сама попросила запретить мне доступ в игорные заведения на пять лет... Но я ездила играть в Лондон, где мне это не было запрещено.

Что такое для вас игра?

Игра – это необъяснимо, это страсть, в каком-то смысле потеря себя, и в то же время это жизнь. Как же это было здорово – играть, жить...

Что же осталось у вас сегодня от всего этого?

У меня было все, о чем только может мечтать человек, то есть вещи, для меня преходящие. Меня поместили под своего рода опекунский совет. Так лучше.

Вы ни о чем не жалеете?

Я не могу жалеть о том, что, как говорят, растранижила свою жизнь, но единственное, ради чего мне хотелось бы уметь беречь, вкладывать и экономить деньги, – это конюшня, пусть хотя бы с одной лошастью. Нет ничего прекраснее, чем ваш жеребенок в лесу на рассвете, такой озорной, а потом он же после скачек в Лоншане, такой невозмутимый. К несчастью, это роскошь уже непозволительная. Я мечтаю о лошади.

Что было бы, если бы ваши книги не пошли? А если не пойдут следующие?

Я буду писать до конца моих дней и точно так же продолжала бы писать, даже если бы мои книги не продавались. Я ни о чем не жалею. Много лет я от души развлекалась, а годы праздности и веселья – это чудесно. Что бы ни случилось, это кусок моей жизни, о котором, могу сказать с уверенностью, я никогда не пожалею.

Но теперь вы уже не живете так?

Я по-прежнему люблю скорость, но больше не даю себе воли, как прежде. Теперь я думаю о моем сыне и вообще о людях. Люди вокруг меня стали ценностью, которой я не могла постичь в двадцать лет. В 1960-м я еще могла гонять по улицам Парижа,

сегодня же, чтобы это делать, надо быть мазохисткой. Ночной Париж, где лилось рекой шампанское, стал Парижем кока-колы и неона. Ночная жизнь утратила легкость. Люди слишком измотаны дневной жизнью и больше не готовы решительно идти на край ночи.

У вас остались ваши книги.

Писать, пользоваться словами – это действительно единственное, чего мне хотелось, когда я начала «Здравствуй, грусть». Я люблю слова. Люблю музыку слов. Есть изумительные слова, «балкон» например. Или еще «жалюзи», «меланхолия».

Как вы пишете?

Начиная роман, я сперва пишу свободно, по вдохновению. Никакого плана, больше всего я люблю импровизировать, как будто держу в руках нити повествования и дергаю за них, как мне вздумается. Потом я работаю над текстом. Привожу в порядок фразы, выпалываю наречия, выверяю ритм. Не дай бог, где-то недостает слога или, так сказать, стопы. Писать – это еще и ремесло. Во фразе романа количество «стоп» не фиксировано, но сразу чувствуешь, если фраза хромает, печатая ее или произнося вслух. Я люблю французский язык, но от ошибок из себя не выхожу, просто стараюсь писать грамотно... Название книги представляется мне очень важным. Как говорится, по одежке встречают. Я всегда выбираю названия, которые мне нравятся. И почти всегда нахожу их, уже закончив книгу.

Вам легко пишется?

Иногда. Бывает, пишу десяток страниц за час или два.

Всегда на машинке?

Да, от руки – никогда. На машинке как-то чище получается. Это обнадеживает.

Великие писатели, взять хотя бы Флобера, работали очень трудно, мучились над каждым словом. Такое еще встречается.

Да, я это очень хорошо понимаю. Они правы. Может быть. Но для меня слова – это возможность выразить мысль. Не вижу смысла над ними корпеть. Ювелирную работу пусть делают ювелиры.

Вы работаете каждый день?

Не обязательно. Бывает, я пишу роман периодами по десять-пятнадцать дней. В промежутках думаю над историей, просто мечтаю и, потом, я о ней говорю. Делюсь идеями. Спрашиваю мнения. Люблю, чтобы это нравилось.

А если не нравится?

Для меня это катастрофа. Мне кажется, я мало что могу изменить. Машина уже запущена...

Что такое для вас писать?

Писать – это двойное удовольствие рассказывать историю другим и себе. Удовольствие писать необъяснимо: вдруг находишь прилагательное и существительное, дивно друг другу подходящие, поди знай почему, два чудесных слова, идею, которая очень далека от того, что хотелось сделать, но уж больно хороша. Это как идти по незнакомым и прекрасным краям. Да, это прекрасно, но и унизительно порой, когда не получается написать то, что хочешь. Тогда это маленькая смерть, впору сгореть со стыда, стыдно за написанное, чувствуешь себя жалкой. Но уж если «пошло» – это как хорошо смазанный, идеально работающий механизм. Как пробежать стометровку за десять секунд. Это чудо, когда фразы нанизываются одна на другую и ум работает почти отдельно от тебя. Ты становишься собственным зрителем.

Когда перечитываешь, например, «Ангела-хранителя», создается впечатление, что вам очень нравится смеяться.

Да, очень нравится. Я и сама люблю посмеяться.

Вы нарочно стараетесь рассмешить, когда пишете диалоги?

Некоторые – да. Надеюсь, мы говорим об одних и тех же.

Когда вы видите кого-то, что замечаете в первую очередь?

Кого-то, кого я совсем не знаю?

Или кого-то, кого вы знаете...

Когда это незнакомые люди, я смотрю в первую очередь на внешность, движения, на то, что называют поведением. Когда это люди, которых я знаю, – смотрю, хорошо ли они выглядят, довольны ли, все ли у них в порядке.

Вам не кажется, что вы подмечаете вещи, которые пригодятся вам в дальнейшем?

Я совсем не наблюдательна.

Мелкие детали, которые приходят вам в голову, когда вы пишете, просто возникают ниоткуда или вы вдруг вспоминаете, что где-то их подсмотрели?

Начнем с того, что таких деталей, думаю, относительно мало.

А сцены, к примеру?

Сцены – это визуальное. Это всегда вымысел; да, сугубый вымысел.

В «Любите ли вы Брамса?» мне вспомнилась очень красивая сцена: как смешиваются волосы Поль и Симона в открытой машине, когда они в первый раз целуются. Это не воспоминание?

Нет, просто пришло в голову. Тут дело даже не в сцене, а в том, что ночью всегда веет какой-то ветер, пахнувший совсем не по-парижски... Зимний ветер... Я очень это люблю. Люблю ночь. Поэтому она у меня играет активную роль.

Похоже, вы гордитесь тем, что пишете «хорошо».

Хорошо писать не каждому дано. В людях нет страсти к словам; вот и получается, что пишут они откровенно скучно, дурно или плоско. А ведь французский – язык чудный и вечно новый. Куда как легко вслед за новым романом просить читателя привнести талант, которого не вложил автор. Настоящая литература все же зиждется на таланте автора! Читатель должен быть покорен, завоеван, взят в полон тем, чья радость и сила в том, чтобы пленять словами, которые принадлежат всем, но только писатель умеет их употреблять не так, как все.

А сами вы довольны тем, что пишете?

Писательский труд остается для меня чудовищным самоуничтожением. Я бы хотела точно знать, что написала или пишу хорошую книгу, для меня хорошую, но быть в этом уверенной я не могу. Писательский труд – это нечто такое, с чем нельзя шутить. Ничто так не выводит меня из себя, как превратное представление, сложившееся обо мне в этой области. Я знаю хорошие книги, великие книги, и чего бы только не дала, чтобы быть уверенной, что и я написала хоть одну такую. Я верю в честность. А честность для меня состоит как раз в уважении к представлению, которое мы имеем о некой ценности. Ценность, которую пытаюсь уважать я, – это литература. Правда.

Вас интересует критика?

Критика интересует меня только в той мере, в какой она говорит о моих книгах, а не о Саган. То есть, сами понимаете, интересует она меня очень мало. У меня такое впечатление, что я уже двадцать лет окружена большой семьей, вроде бы и любящей, но ворчливой, и постоянно слышу одну и ту же песню: «Ты мало работаешь, много пьешь, знаешься с неподобающими людьми, слишком быстро гоняешь на машине». Это все упреки скорее семейного порядка, чем литературного. Вы удивитесь, но я до сих пор, в тридцать девять лет, чувствую себя девчонкой. Единственные, кто действительно говорит со мной о моих книгах, – это мои читатели, потому что их-то как раз интересует история и герои этой истории.

Что же они вам говорят? Кто они?

О! Это часто бывает занятно: от юнцов до старушек. Очень длинные письма. Иногда меня в них оскорбляют. Или просят денег: кто три франка, кто десять тысяч. Но обычно люди рассказывают о себе, впрочем, всегда немного лукавя: ложь или умолчание ведь чувствуется. В этих письмах они отождествляют себя с героями моих книг. После «Немного солнца в холодной воде» женщины писали мне: «Я тоже любила молодого человека, мы с ним жили в провинции. Я последовала за ним в Париж, и там он меня бросил, как ненужный хлам». После «Синяков на

душе» было немного иное: куда более личное, так сказать, голоса сердца. Очень трогательные письма, попадались довольно красиво написанные, в них говорилось о жизни, о смерти, о метафизике.

Иногда меня спрашивают, что я хотела сказать или сделать, почему такой-то персонаж или такой-то характер. Или мне пишут: в вашей книге вы объяснили мне такую-то проблему. Но я-то никогда и не задумывалась об этой проблеме – тут я теряюсь.

Вы отвечаете?

Иногда. Но их слишком много. А зачастую и ответить нечего. Когда читатель пишет вам: на странице 27 я узнал себя, это я точь-в-точь и т. д. Это очень трогательно, но совершенно бесполезно для писателя.

Вас всегда узнают на улицах?

Теперь гораздо реже. В восемнадцать лет это было невыносимо. Меня узнавали повсюду. К счастью, многое с тех пор изменилось. Бывают дни, когда я похожа на себя, если можно так выразиться, похожа на свои фотографии. А бывает – в зависимости от вчерашнего состояния, от усталости, – что я совершенно безлика. Что-то, наверное, во мне есть такое ускользающее. Я прохожу быстро, и меня не видят. Это вопрос техники: надо идти прямо, не глядя людям в глаза. Иначе они начинают делать вам знаки – и тогда все пропало. Вы отвечаете, они подходят, вы в замешательстве, не помню, где мы с вами встречались, напомните мне, как вас зовут. Нет-нет, мы с вами незнакомы, но мне так понравилось «Любите ли вы Брамса?»... Это катастрофа. Или наоборот, я систематически здороваюсь, из комплекса, что ли, так приветливо, и попадаю на совершенно незнакомых людей, которые смотрят на меня пристально, как на сумасшедшую. Порой бывают очень комические ситуации, этикие «контрпетри»^[5].

Вы сомневаетесь в себе?

Есть ли люди, никогда в себе не сомневающиеся? Я сомневаюсь в себе постоянно. Иначе разве я, например, продолжала бы писать? Сомнение – это мое здоровье. В девяти случаях из десяти писать значит заблуждаться. Разум мечется, обезумев, между двумя полюсами, двумя возможностями. Единственный способ для писателя разрешить сомнение – устремиться по пути, который кажется самым соблазнительным с точки зрения чисто вербальной, лирической, романтической. В такие моменты мы заблуждаемся осознанно, но с благими намерениями. Все правы, никто не прав. Не может быть неправым только тот, кто один перед «чистым листом, защищенным своей белизной», как сказал Малларме. Не надо оправдываться задним

числом за то, что ты сделал, объяснять, почему, как, для кого. Сделал – и все тут. Каждый день я спрашиваю себя: «Где я? Что мне думать?» И ничего не понимаю. Повторюсь, писательский труд – единственная возможность... заблуждаться, да, быть может, но заблуждаться осознанно.

Вам ставят в вину всегда одни и те же темы.

Две темы преобладают в моих книгах, всегда одни и те же, это правда: любовь, одиночество; лучше бы сказать одиночество и любовь, потому что главная моя тема – одиночество. Любовь в каком-то смысле даже помеха, потому что первостепенным мне представляется одиночество людей и как они от него избавляются.

Говорят: в романах Саган ничего особенного не происходит.

В моих книгах мало драм, потому что, если вдуматься, все в жизни драматично: драматично встретить кого-то, полюбить, жить с ним, знать, что он для тебя – все, и расстаться через три года с сердечными ранами. Я люблю одиночество, но привязана к людям, и мне очень интересны те, кого я люблю. Ну вот, и я думаю, что эти мелкие жизненные драмы стоит обращать в шутку, иметь хорошее чувство юмора и в первую очередь уметь посмеяться над собой.

Ваши герои редко испытывают физическую боль, разве что в наслаждении. Им наносят только сердечные раны. Почему вы их так оберегаете?

Наверное, потому, что сама была разбита на кусочки в автомобильной аварии. А боль, как, впрочем, и наслаждение, не комментируется. Во всяком случае, в моей голове.

Какую из всех ваших книг вы предпочитаете и почему?

День на день не приходится. Почему – тоже.

Вы писали еще стихи после тех, что писали до публикации «Здравствуй, грусть»?

Километрами. Не очень хорошие. А «не очень хорошо» в поэзии – это безнадежно.

Что вы будете писать теперь?

Мне бы хотелось писать романы, в которых было бы все меньше драматических обстоятельств и все больше обыденной жизни, мелких повседневных сложностей. Если можно так выразиться, это единственное направление, в котором я хочу идти. Потому что это и есть драма. Внешние события всегда случайны. Драма – это вставать утром, ложиться вечером, суесться в промежутке и так до самой смерти. Драма – это обыденная жизнь... Время от времени мы это осознаем, но редко...

Вас упрекают в том, что называют пессимизмом.

Меня иногда упрекают в разочарованном взгляде на жизнь; а что я могу сделать? Отношения между людьми непросты. С какой стати я буду макать перо в розовую водичку? Я знаю: есть на свете большая и прекрасная любовь. Но она самодостаточна и не может стать темой романа. Ведь почти нет великих романов с хорошим концом...

Вы не пытаетесь изменить жизнь, когда пишете?

Я принимаю жизнь такой, как она есть, и не пытаюсь ее изменить, только описать; такая описательная литература мне нравится и привлекает со всех точек зрения: нравственной, эстетической и т. д. На мой взгляд, правда жизни куда сложнее, неоднозначнее и богаче любой фантазии. Фантастическая или утопическая литература меня не прельщает. Разумеется, я, как все, в свое время обожала Бретона и очень люблю Кревеля, но в Кревеле нет ничего сюрреалистического или, по крайней мере, ничего ирреального. Обыденная жизнь, на мой взгляд, куда более жестока и страшна. Шум и ярость – это ведь повседневность, это обыденная жизнь обычного человека в нашу эпоху. Ярость, шум, гнев, тоска и тревога – все это присутствует каждый день в жизни каждого, кто мало-мальски способен чувствовать. Повторюсь: меня интересуют именно отношения людей с одиночеством и с любовью. И я знаю, что это основа жизни человека; не суть важно, космонавт он или акробат, куда важнее, кто его жена или муж, любовник или любовница. Поразительно, что психологические отношения в группе, которые я описываю, применимы к любой среде. Ревность одна и та же для парижского интеллектуала и для фермера из Жиронды.

Чувства везде те же?

Чувства везде те же, что в одной среде, что в другой. Заглядывая вглубь, лучше узнаешь людей, чем постоянно гонясь за новизной. Поэтому путешествия никому ничего не дают, разве что учат преодолевать трудности туристического порядка. У меня нет литературного рефлекса перед пейзажем чужой страны, открытием ее нравов.

Даже для фона?

Фон мало значит. Если хочешь написать историю любви, фон угольной шахты необязателен. Герои, которыми я восхищаюсь, отличаются не заслугами перед обществом. Если мои персонажи всегда принадлежат к одной среде, так это в основном приличия ради. Сама я никогда не знала ни нужды, ни серьезных материальных проблем, так с какой стати мне, как говорится, «греть руки», рассказывая о социальных проблемах, которых я не знаю и не испытала на себе... А если брать шире, отношения моих персонажей с работой не представляются мне существенными для

нити повествования.

Но ведь в жизни люди обычно работают.

Насколько труд человека завораживает в творчестве, например, Золя или Бальзака, настолько же он неинтересен мне. Я не решусь описывать среду, которой не знаю... Если я опишу невзгоды бедного, обиженного жизнью человека и получу за это много денег, что я буду с ними делать? Куплю себе бассейн? На мой взгляд, это будет очень некрасиво. Меня совершенно не смущает, что все мои герои – из определенной среды; я никого не сужу – ни среду, ни тех, кто судит эту среду. Это и есть, наверное, самое подлинное и непосредственное во мне сегодня: невозможность судить. Человек живет, он такой, какой есть, и мне хочется его понять, и только. Меня часто упрекали в том, что моих персонажей как будто не затрагивают мировые проблемы: меня они затрагивают напрямую, но я не вижу, каким образом тот факт, что одна из моих героинь выскажет, например, свое мнение о войне во Вьетнаме, может что-то изменить. Я не хочу так топорно использовать вещи, о которых нельзя говорить походя. Конечно, я против войны во Вьетнаме... И манифесты подписывала, и на демонстрации ходила. Все, что происходит в мире, мне интересно, но, повторяюсь, я не считаю себя вправе использовать этот материал, чтобы оживить, очеловечить любовную историю, это кажется мне топорным.

А другие страсти? Честолюбие, скупость...

Скажем так, есть страсти, интересующие меня меньше.

Меня особенно поражает в людях, которых я знаю, которых знала, да и во мне самой есть это неизбывное одиночество – а ведь это тема не безобидная, не мелкая тема. Это сознание своего «я», незыблемого, потерянного и некоммуникабельного одновременно. В сущности, почти биологическое. Все более или менее от этого страдают, это ведь даже один из первичных постулатов: человек рождается один и умирает один. Когда люди отрекаются от любви, они, разумеется, могут найти прибежище в честолюбии, скупости или привычке; но пока не отрелись, они крепко держатся за ближних.

Но вы, похоже, думаете, что человек очень одинок и в любви.

Да, но это уже вторичный взгляд на вещи. Первичный рефлекс таков: я был один, нас станет двое. Только после человек понимает, что это не так. Впрочем, в моих романах герои всегда одиноки в любви.

Как вы оцениваете ваших героев и героинь?

Есть такие, что мне очень нравятся. Например, Жюлио в «Через месяц, через год». Он какой-то чистый, стремительный, никогда не лукавит. Вообще, герои моих книг мне интересны.

Некоторые критики называют их пустышками. Я их выбрала, для меня они не могут быть пустыми. Я сумела включить в портретную галерею несколько карикатур забавы ради. Но мои персонажи – не пустышки. У них обычно то же отношение к жизни, что и у меня, отношение во многом несерьезное. Я ненавижу серьезность. По мне куда приятнее и даже эстетичнее известное легкомыслие. Пустышки занимаются в жизни малоинтересными вещами. У меня нет к ним тяги. Пустота сама по себе ужасна. Беззаботность – дело иное, мне она представляется формой жизни. Кстати, мои герои всегда были молчаливы: я не давала им много времени, чтобы высказаться, но это не значит, что они не думают. И еще я не люблю описывать их внешность: пусть ее дорисует воображение читателя.

Надо ли искать в ваших книгах вас?

Систематически, начиная со «Здравствуй, грусть», меня обвиняют в том, что я пишу собственный портрет. В «Любите ли вы Брамса?» моей героине было сорок два года, мне – двадцать четыре, и все равно меня узнали в ней. Что бы я ни написала, героиня – это я! Конечно, есть точки соприкосновения. Когда женщина говорит о другой женщине, иначе быть не может. Думается, я разделяю с ними бесконечное любопытство к жизни. И потом, они представляют себе свою жизнь только в связи с кем-то... Есть женщины, имеющие очень четкое представление о себе, они охотно дают понять: я прямодушна, чуть грубовата и т. д.; мои же героини – нет, они познают себя и свои возможности только через кого-то.

Это именно ваш случай?

По правде сказать, не совсем, и это естественно, потому что я пишу и тем самым определяюсь. Себя и свои возможности я познаю в схватке с чистым листом бумаги. Но вне этой ситуации я «вижу» себя только в связи с кем-то. Впрочем, писать роман значит лгать; вот, например, «В поисках утраченного времени», моя любимая книга, написана совершеннейшим лжецом. Все изменено, преображено. Это одно из самых прекрасных произведений – и самых правдивых, потому что Пруст глубоко сжился с этой постоянной ложью... Когда установится равновесие между им истинным и им написанным, писатель перестанет писать. Писатель – вдохновенный лжец, фантазер, безумец; уравновешенных писателей не бывает.

У вас есть определение литературы?

Для меня литература – это такая блажь, когда придумываешь персонажей, которых знаешь лучше, чем собственных родителей, которые становятся твоими друзьями. Когда сознательно пишут, чтобы «было посовременнее», мне до смерти скучно.

Новые течения...

Я не верю ни в течения, ни в разговоры об обновлении романа. Сколько еще надо узнать о человеке! Я бы сравнила писателя с лесорубом. Дерево слишком огромно, чтобы тратить время на изучение топора.

Литература – это Бальзак, в халате и с чашкой кофе, написавший: «И вдруг он увидел ее, и влюбился в нее безумно, и умер у ее ног, плача, и последняя слеза скатилась по его щеке»; это, конечно же, Пруст, это Достоевский, описавший эпилептические припадки князя Мышкина... Каждый писатель хочет быть Прустом. Это, по-моему, очевидно. Вот только Пруст был гений.

А вы?

Не думаю; талант – да, но не гений, нет.

Вы много читаете?

В пятнадцать лет я набрасывалась на все, что напечатано, это был рефлекс. Слова, слова, слова, как сказал бы Сартр. Я четыре года прожила в горном шале близ Гренобля. Больная, усталая, малокровная. Вот тогда я много читала: Ницше, Жида, Сартра, Достоевского, вообще всех русских классиков. Много стихов, Шекспира, Бенжамена Констан. Это было в войну, в пору маки в Веркоре. В литературном плане главным было открытие Пруста и Сартра; потом – Достоевский, Стендаль, кое-что из Фолкнера. В этой области у меня исключительно классические предпочтения. Из современных писателей я восхищаюсь талантом многих: назову Симону де Бовуар, особенно ее «Гостью», творчество Маргерит Дюрас, первые книги Натали Саррот, некоторые – Франсуазы Малле-Жорис, Ива Наварра, Мальро. Но только один меня ни разу не разочаровал – это Сартр. Его персонажи таковы, каковы они есть; они живут, лепя свою статую. Статую из песка, быть может, но это неважно. Главное – лепить.

Что вы цените в первую очередь у писателя?

Я бы сказала «голос». У некоторых писателей есть свой голос, который слышишь с первой же строчки, как слышишь живой голос человека. Это для меня главное. Голос, или тон, если вам так больше нравится.

А что вы чаще всего перечитываете?

Часто перечитываю Пруста. Помню, как перечитывала его в Индии. Воды Ганга и гостиная мадам Вердюрен очень занято смешались в моей памяти. Много читаю Шекспира. И Расина, которого находила скучным в лицо, как все. Но когда полюбишь французский язык, Расин завораживает. Еще я знаю множество стихов наизусть. Аполлинера и Элюара могу декламировать километрами.

А «Здравствуй, грусть» вы перечитывали?

Нет, никогда. А да, полистала однажды, довольно давно. Я обнаружила в ней одновременно наивность и лукавство, которых прежде не замечала.

Почему, когда и каким образом вы пришли к театру?

Впервые написать пьесу для театра мне пришло в голову в 1954-м. Мы – Флоранс Мальро^[6], Бернар Франк и я – гостили в Бюже у Франсуа Мишеля, в Монтাপлане. Дом был темный, большой; уединенно стоящий, в несколько этажей. На холме. Он походил на бункер. Однажды вечером Бернар Франк рассказал историю молодого человека, хвастуна и задиры, который в определенных обстоятельствах преобразился в робкого влюбленного, в рохлю. Это запало мне в душу. Первый вариант этой пьесы я написала только зимой 57-го, когда только закончила «Через месяц, через год». Я гостила с друзьями на мельнице, близ Милли-ла-Форе. Стояли холода. Вечера были длинные, и я немного скучала. Жизнь текла будто в замке из далекого прошлого. Чтобы развеяться, я написала веселую историю о людях, запертых в доме. Тогда я не думала, что это будет пьеса, не помню даже, было ли уже у нее название... Вскоре после этого Жак Бреннер попросил у меня текст для своего журнала «Кайе де Сезон». И я предложила ему этот набросок комедии: «Замок в Швеции». Его прочел режиссер Андре Барсак; он был не очень разговорчив, но сказал мне, что ему нравится тон. Он попросил меня переработать текст. Пьеса была недостаточно длинной, ей не хватало хребта. Мотивации были недостаточно ясны. Юмор оставался за рампой... Для театра надо завязывать узлы и потом их развязывать. Барсак очень мне помог; мы виделись практически каждые три дня в течение месяца, пока не доработали пьесу... Как видите, моему дебюту в театре я обязана чередой случайностей. Причины, побудившие меня пойти дальше по этому пути, быть может, не столь серьезны, но очень весомы: репетиции забавляют меня до безумия. Париж, театр – и складывается что-то вроде огромной семьи. Важен даже запах театра, пустого театра, где все начинают работать. Это на самом деле очень увлекательно – поначалу, во всяком случае, – слышать, как «произносят» то, что ты написала. Это чудесно, просто невероятно. Потому что это одновременно то и не то, ты узнаешь себя и не узнаешь. Этим проникаешься внезапно, слышишь, как актер произносит свою реплику именно так, как тебе хотелось, и твои персонажи вдруг обретают лицо. Я люблю кулисы, период репетиций, всю игру, которую они предполагают, серьезность актеров, спрашивающих: «О чем я думаю, когда открываю дверь?», их способность находить другую правду, не ту, о которой думала

я, когда это писала.

Ставить пьесу – это что-то вроде игры в стройку. Я люблю атмосферу репетиций, общение с людьми, стычки актеров с рабочими сцены, с режиссером... Полтора месяца проводишь с десятком человек, с которыми потом больше практически не видишься, потому что на следующее утро после премьеры я покидаю театр и больше туда не возвращаюсь. А день премьеры – это что-то невероятное! Все стучат зубами, обстановка – нечто среднее между гэгем и корридой. Мелодраматизм вечеров «генеральных» – это чудо, суфлерша целует вас, обливаясь слезами! Вдруг, среди этого переполоха, осознать, сколь велика ставка для всех, – от этого голова идет кругом. Меня часто охватывает мандраж за актера, когда я вижу его бледным как смерть; и мне хочется, чтобы пьеса пошла успешно, ради актеров, не из альтруизма, а просто потому, что я вижу, как их трясет, еще сильнее, чем меня. Когда пьеса не имеет особого успеха, как «Иногда скрипки», мне их искренне жаль; мне кажется, что из-за меня они потратили впустую свое время, свой талант...

Вы пишете специально для каких-то актеров?

Только один раз, для Мари Белль. Поскольку я хорошо знаю ее манеру держаться, речь и поведку львицы, мне было очень забавно вкладывать в ее уста реплики, которые она могла бы произнести в жизни.

А вас, как других драматургов, недоброжелательная критика выводит из себя?

Не в пример многим моим собратьям, я от недоброжелательной театральной критики не бешусь. Во-первых, постановка пьесы – это всегда игра ва-банк, а я из тех, кто легко относится к проигрышу. К тому же ремесло критика, если заниматься им добросовестно – а почти все критики добросовестны, – наверняка не подарок. И потом, это же часть игры. Лично я до сих пор имела успех в среднем через раз, и полнейшая неуверенность в судьбе моей следующей пьесы щекочет нервы, как ничто другое.

Какую разницу вы видите между вашими пьесами и вашими романами?

Иногда подмечают нестыковку между моими романами и моими пьесами: последние очень традиционны. Я это делаю намеренно, мне нравится эта старомодность. Впрочем, театр старомоден по определению, и все теории о новом театре кажутся мне сомнительными. Театр – искусство абсолютно буржуазное, потому что билет стоит как минимум двадцать франков. И красное, черное, золотое, декорации, постановка – все это работает как маленькая фабрика марионеток. Не считая домов культуры, где усталым после работы бедолагам показывают Брехта или Пиранделло, что я нахожу чудовищным снобизмом. Под тем предлогом, что они платят за билеты всего пять франков, им после работы, метро, поезда навязывают пьесы, заставляющие думать: надо, мол, «воспитывать» народ. По какому, спрашивается, праву кто-то хочет воспитывать народ, как будто он сам по себе недостаточно воспитан? Интеллектуалы, называющие себя левыми, как правило, не имеют никакого уважения к тому, что они понимают под словом «народ». Если зритель беден и устал – это их зритель. Да кто они такие, чтобы тащить к себе людей на аркане! Как это грубо! Им бы показывать Фейдо, чтобы они повеселились, расслабились, как расслабляются добрые буржуа, платя по шестьдесят франков, чтобы посмотреть Барийе и Греди или мои пьесы. Единственно верный путь в искусстве – дать каждому творить, для себя первого, как он чувствует: каждый должен идти этим путем с радостью, но не делая его всякий раз золотым правилом. Я думаю, театр – это прежде всего развлечение. Пусть даже есть театр политический, ангажированный, все равно главным образом театр – это развлечение. Да и могут ли актеры и театр оказывать реальное политическое влияние – еще вопрос. Поэтому «народ» как обобщение домов культуры меня возмущает. Нет никакого народа, есть обычные люди, того же возраста, того же

здоровья, той же сексуальности и жизнеспособности, что и театральные деятели. У них просто более или менее туго с деньгами, вот и все. Но «народа» в этом понимании нет. Можно прекрасно ставить Брехта, Пиранделло или Сартра. Но ведь есть еще Лабиш, Фейдо, Ануй... Лично я считаю, что не пишу для бульварного театра. В моих пьесах нет, например, сильных эффектов, и даже если меня играют на бульварах, повторяю, для бульваров я не пишу. Но театр со времен древних греков создан, чтобы развлекать людей.

Вы занимались и режиссурой...

Отчасти из вызова профессионалам, отчасти из любопытства я взялась за постановку: «Счастье, чет и нечет». Очень скоро я поняла, что режиссура – это профессия, и, увы, не моя. Это была катастрофа. Надо знать дело досконально и, главное, иметь авторитет, надо уметь обращаться с софитами, уметь обращаться с людьми, а поскольку я ради собственного удовольствия пригласила только близких друзей – Трентиньяна, Жюльетт Греко, Мишеля де Ре, все мне говорили: «Поработали и хватит, пойдемте выпьем». И мы шли. Нет, моя истинная роль куда скромнее: записывать во время репетиций свои замечания и по окончании показывать их режиссеру.

А кино?

С кино я тоже немного соприкоснулась. Мне надоело видеть, как мои книги – если не считать «Любите ли вы Брамса?», – превращались на экране в сущее безобразие: хуже всего обошлись со «Смутной улыбкой». И тогда я решила поработать над экранизацией «Сигнала к капитуляции». Братья Хаким хотели поставить фильм с Бардо и Бельмондо. Я знала, что Бардо жаждет получить эту роль, но, на мой взгляд, она не подходила к образу, и потом, если бы братья Хаким купили права на «Сигнал к капитуляции», я бы по этому фильму не имела права голоса. Я предпочла работать с Аленом Кавалье; я мало его знала, но его представление о книге и персонажах совпадало с моим. Кроме того, я видела его фильмы, и они мне нравились. Это, кстати, очень забавно: вернуться к своим изрядно подзабытым персонажам и заставить их говорить. Фильм очень точно повторяет книгу. Ален именно этого и добивался. Еще я делала «Ландрю» с Клодом Шабролем. Шаброль мне очень понравился, в свое время, когда я писала о кино в «Экспресс», я написала хороший отзыв на один из его фильмов. Однажды меня попросил сделать с ним фильм Борегар. Мы написали диалоги очень быстро, за неделю. Веселились, как безумные! Но кино для меня не более чем эпизод. Я романистка по призванию и драматург забавы ради.

Что же забавно в театре?

Театр – это что-то шальное. Пишешь пьесу, над ней работают несколько месяцев, репетируют. А потом, в один вечер, в какие-то два часа происходит бой за правду. Сидя в бенуаре, на авансцене, с несколькими друзьями, как боксер в окружении своих секундантов, ты смотришь, не в силах ничего сделать, казнь или победу твоего детища. После уже не так интересно. Пьеса – это игра, в которой очень скоро перестаешь быть хозяином положения. Она тебе больше не принадлежит, как и ее персонажи. Писать пьесу для театра – это лучшее развлечение. Пишется очень быстро, это просто игра ума, партия в пинг-понг. Бывает, придет в голову смешная идея или какой-нибудь драматический ход. Я запоминаю и придумываю персонажей. После чего очень быстро пишу. Меняю текст только на репетициях, в зависимости от исполнителей. Когда актер плохо произносит фразу, ее надо менять. Часто приходится добавлять реплики, чтобы актеры успели переодеться за кулисами или еще по каким-то техническим причинам.

Есть ли разница между написанием пьесы и романа?

Разница есть, и огромная. Театр намного легче, потому что весь обращен к внешнему; в романе же больше задействован автор. В театре надо растолковывать, время от времени расставлять точки над «і»... В романе можно обойтись лишь намеком. В театре гораздо меньше свободы, поскольку есть четкие императивы – время, место... Персонажи должны говорить между собой, и только, в то время как в романе ты совершенно свободен и можешь посвятить сколько хочешь страниц описанию реки или дверной ручки. Но, как ни парадоксально, писать для театра легче именно потому, что есть императивы – эти рельсы. Зажатый в рамки, ты знаешь, куда идешь; это упрощает работу драматурга, потому что важно логическое развитие событий: действие движется к финалу через постоянно нарастающий драматизм, есть пути, которыми автор вынужден следовать. Это как игра в сквош: бросаешь мяч в стену, и, направо ли ты его бросил, налево ли, он возвращается всегда в середину. Тогда как в романе мяч, запущенный наобум, может улететь в окно, и ты его больше не увидишь. От свободы романа мне бывает страшно. Конечно, когда я начинаю писать, у меня есть тема, основная идея, но нет четкой канвы. Я иду от одной детали к другой, развивая все ту же тему. В пьесе это невозможно. В романе мне нужны максимум два-три персонажа, и я погружаюсь в него и тону, потому что не могу объяснить, чего мне хочется, сбиваюсь с пути и путаюсь. А в пьесе все идет очень быстро, я пишу, посвистывая: это работа плотника, знай собирай да пригоняй

доски и балки. И персонажи выходят на сцену и уходят по твоему желанию.

В конечном счете, вы романистка, а пьесы пишете, чтобы развлечься.

Театр меня забавляет, роман забирает всю целиком. Я уже говорила – я обожаю репетиции, театральную атмосферу, актеров, люблю с ними разговаривать. Но когда я пишу, я всегда одна – и в этом суть моей любви к литературе.

Вы сказали: я не могу судить...

Человек – он ведь состоит из нервов, костей, крови... это что-то необычайное. Но если он совершает гнусный поступок, у этого всегда есть причина, слабость, помешавшая поступить иначе; и я чувствую, что не могу первой бросить в него камень, правда. Я так люблю людей, что мне претит причинять им зло. А судить – это уже причинить зло.

Даже тех, кого любишь?

Любить – это не просто «очень любить», это еще и понимать. А понять значит спустить на тормозах... просто не говорить об этом.

Из чего состоит жизнь? Жизнь человека?

Что это такое – жизнь, жизнь человека? Опять слова... Я верю в постоянство инстинкта, желания, потребности. Это неистребимо. В людях живет потребность не испытывать страха, находиться в безопасности, в тепле, быть любимыми. И я убеждаюсь в этом каждый день. Каждый день я вижу, что людям нужно место, где прилечь, нужен кто-то, кто скажет, что любит, нужно не знать одиночества, страха, пробуждений в холодном поту. Людям страшно жить, страшно все потерять, им страшно, в самом деле страшно. И в каждом человеке есть хоть что-то прекрасное, ведь невозможно родиться совершенным уродом. Но иногда этого не находят, просто потому, что не ищут, и дело кончается плохо, глупо, в суде.

Впрочем, все люди не то что двулики – трехлики. И это тревожит. А меня как раз неотвратимо тянет к тревоге, к неустойчивости, к жизненным бурям. Если человек вот-вот упадет, ударится – он мне интересен.

Не себя ли вы ищете в других людях?

Мне не нужно зеркало. Когда я смотрю на кого-то, я хочу видеть его, а не свое отражение в его глазах.

А счастье?

Если верить газетам, счастье, которого ищут люди, состоит из телевидения, уик-эндов и автомобильных аварий. Это несколько поверхностное суждение. Потому что люди куда более утонченны, чувствительны и одиноки, чем о них говорят. Стиральная машина

никогда не составляла счастья женщины. Равно как и ее фото в полный рост на балу, помещенное в «Жур де Франс».

Вы тоже думаете, что люди живут сегодня с чувством тоски?

Во всех сегодня засела чудовищная душевная тоска. В письмах, которые я получаю после выхода моих книг, мне всегда пишут: «Я тоже прошел через это, я это видел, это мне знакомо, я страдал» и так далее. Тоска в наши дни неотделима от людей, как зубы или волосы. Да и может ли быть иначе? Жизнь у людей беспросветная, их вынуждают так жить. Я нахожусь в привилегированном положении, потому что могу делать то, что мне нравится, могу даже жить одна, если захочу. Но жизнь большинства людей ужасна. Их держат за горло, вынуждают работать с утра до вечера, они смотрят идиотское телевидение, никогда не остаются одни, загнанные в западню такими же людьми, как они. Они не могут позволить себе ни минуты того, что называют «добрым временем», старым добрым временем, которое течет, секунда за секундой, и можно просто смотреть, как оно проходит. У большинства нет ни жизни, ни времени – только слепой и безумный бег по кругу.

В сущности, вы очень любите людей.

Это правда, я очень люблю людей, я не могу быть равнодушной к их поступкам, к их натуре. Не могу быть равнодушной, когда кто-то ведет себя как хам, но не могу и тогда, когда кто-то добр и интеллигентен; это кажется мне очень важным. Так, если я знаю, что такой-то человек щедр и великодушен, и вдруг ловлю его на скаредности, я все равно не могу забыть его великодушия. А если от самых ужасных вдруг вижу широкий жест, забываю, что они ужасны. Но – я ли постарела или постарели они? – мне кажется, что им теперь далеко не так весело и в то же время не так страшно. Помню, когда мы жили вдвоем с братом, мы говорили: «О! Давай смеяться, смеяться и безумствовать; скоро атомная бомба упадет нам на голову!» Теперь люди в это не верят, они больше не верят в смерть, только в изнурение. Они правы, но это не так романтично, и поэтому не хочется ускорять ход событий.

Каких людей вы любите?

Это может показаться слишком простым, но я люблю людей естественных, тех, которые не пытаются выказать себя иными, чем они есть на самом деле. Это включает ум, определенную форму внутреннего счастья и определенную доброту. Я очень, очень люблю добрых людей.

Мне также нравятся люди, развалившиеся в ширину в кресле или вытянувшиеся в длину на кровати, сытые, тихие, одинокие и

довольные этим. Я люблю вежливость буржуа. Мне нравятся люди, которые держатся за руки на публике, пусть даже им на эту публику плевать.

Каких людей вы ненавидите?

Ненавижу людей нетерпимых, не сомневающих, тех, что мнят себя истиной в последней инстанции, шумных, самодовольных. Глупые люди мне скучны. Я не выношу самоуверенности вкупе с посредственностью; это меня убивает. Не люблю ни фальшивых мучеников, ни фальшивых интеллектуалов, ни настоящих болтунов. Уважение к деньгам, лицемерие и здравый смысл буржуазии мне претят; здравый смысл незаменим, но я терпеть не могу, когда его выставляют напоказ.

Есть люди, которых вы боитесь?

Боюсь тех, кто может смотреть на жизнь без страха. В глубине души я завидую самоуверенным людям. Я никогда не бываю в себе уверена.

А богатые люди?

Богатые люди мне, как правило, скучны, ведь они богаты, потому что сумели сберечь свои деньги, а это предполагает ответ «нет» другим людям по десять раз на дню. Замечу, кстати, что только богатые говорят о деньгах. Есть у них такая черта, отличающая их от других. Они защищены – а чувство защищенности, безопасности порождает иные рефлексy. Они могут быть так же умны, одарены, чувствительны, как любой другой; они не особая раса, но все же мои друзья, те, кого я люблю за то, что они сумели сохранить естественную уверенность в себе, далеко не богаты и никогда не говорят о деньгах. Друзья... это слово мне дорого. Люди, которых я люблю, – самое важное в моей жизни; с ними я лучше всего себя чувствую, они любят меня ради меня самой. Их немного.

Кто это?

Это те, с кем я живу, мое окружение, те, с кем я могу поговорить, с кем веду многочисленные, долгие, бесконечные беседы; я говорю, говорю, нет конца нашим разговорам... обо всем...

И все ваши друзья и знакомые – выходцы из одной среды? Неужели вы никогда не встречали интересного водопроводчика, притягательного егеря?

Встречала. Конечно же!

Но о них вы молчите, и их не найти в ваших романах. Между тем вы говорите, что можете писать только о том, что хорошо знаете. «Клан Саган» – что это такое?

Да, в связи со мной говорили о «клане». Нет у меня никакого

клана и никогда не было. У меня есть просто друзья. Некоторых я знаю двадцать лет, а то и больше. О! Это вовсе не свита... зачастую они очень плохо со мной обращаются. Говорят мне, например: «Скажи на милость! Ты опять накропала романчик?» Иной раз я предпочла бы иметь свиту льстецов, которые бы осыпали меня цветами... для разнообразия.

Какие качества вам в них необходимы?

Два главных качества, необходимые мне в моих друзьях, – чувство юмора и бескорыстие: два важнейших качества для дружбы. Чувство юмора предполагает ум и непритязательность; бескорыстие же – это щедрость, доброта. Раньше я легко обижала мое окружение; теперь же я берегу тех, кто меня любит; не говорю, что совсем их не обижаю, но чаще об этом задумываюсь. Они не раз мне помогали, например, укрыться от страстей. Долго прожив в любви с одним человеком, хочется глотнуть свободы...

А ваши друзья действительно живут за ваш счет, как говорят?

Все говорят, что меня постоянно «доют» материально. Это неправда, и потом, мне это было бы безразлично. Я сама достаточно нерадива, чтобы понять лень других. И что такое, в самом деле, лишняя банкнота – это как плащ святого Мартина^[7]. Господь велел делиться. Куда хуже я переносу, когда меня «доют» морально. Когда приходится говорить, слушать, быть чем-то вроде Армии Спасения в одном лице. Бывают дни, когда меня это умиляет, но бывают и такие, когда сил моих нет. Да, правда, я люблю людей растерянных, которые не могут разобраться в себе, и кажется, мне удастся им помочь. А главная помощь для них – чтобы кто-то их выслушал. Я всегда чувствовала себя ответственной за друзей-приятелей, которые плакались мне в жилетку, и сколько таких, не счесть... И близкие друзья, и даже люди, которых я едва знаю. Приходят, садятся и рассказывают о своей беде, кто о чем. У меня есть друг-психиатр, он мне говорит: «Хорошо, что у тебя нет кабинета, ты бы увела всех моих пациентов!» Поэтому встречая кого-то, в ком есть жизнерадостность, задор, веселье, я прихожу в восторг. Обожаю, когда меня смешат. За это я и люблю Бернара Франка и иже с ним; он уравновешенный, добрый, уверенный в себе, забавный... И потом, он знает, что потерять человека так же легко, пытаюсь его понять, как и не пытаюсь. Мои друзья, те, кого я люблю, – люди душевные и щедрые. Каждый, кто способен на бескорыстный поступок, за который ему или ей никак не воздастся – ни материально, ни морально, *ipso facto*^[8] становится моим кровным братом или сестрой.

И много таких наберется?

Они у меня повсюду – кровные братья и сестры. Так, я люблю писать – это всем известно – о полуночниках, гуляках, лгунах и пьяницах. Да, я люблю о них писать – потому что они единственные наделены воображением. Надо заковать себя в броню конформизма, чтобы выносить жизнь, не будучи в чем-то на них похожим. Мне знакомо немало удивительных ночных птичек. Вспомнить хотя бы Мануш – какой недооцененный и трогательный образ!

Да, если угодно... В общем, для вас нет «плохих» людей. А в ваших книгах?

В моих книгах нет хороших и плохих, есть только хорошие. Для меня любое человеческое существо слабо и уязвимо. Ночных гуляк, полуночников в тот или иной момент обязательно прорывает – им хочется поговорить. Сначала переговариваются от стола к столу, потом столы сдвигают; нет нужды задавать вопросы: людей прорывает их историей, им хочется объяснить, рассказать, а иногда просто развеселиться. Ночь населена незнакомцами, которые говорят со мной, зачастую не зная, кто я. Это бывает восхитительно, бывает тягостно, но всегда завораживает.

Вы пишете о мужчинах почти как о детях...

У детей и мужчин так много общего... Мужчины ранимы, им хочется играть в ковбоев и всегда страшно, что никто не купится на их вестерн. Мне жаль мужчин. У них больше проблем, чем у женщин, прежде всего потому, что сегодня им приходится состязаться с женщинами. Я хочу сказать, что в наши дни женщины в принципе имеют право делать все, что делают мужчины. И при этом они еще могут оставаться женщинами. Мужчины же должны продолжать заниматься извечно мужскими профессиями и доказывать таким образом свое мужское начало. Женщины решили стать сильными, когда сильный пол начал слабеть. Мне думается, современное общество зажало в тиски женщин так же, как и мужчин. Но мужчины, по-моему, страдают от этого сильнее. Они – пленники своей работы, своей политической беспомощности, своего бессилия изменить ход вещей. Женщины могли бы им помочь. Но нет, они выступают в роли судей; это какой-то абсурд. И потом, иные женщины полны противоречий. Они хотят одновременно и хорошего мужа, и чудесного любовника, и всего остального. Они хотят спокойствия в материальном плане и возбуждения в плане чувственном. Но женщины сейчас в переходном возрасте своей новой роли... Это пройдет.

Это вполне нормально, разве нет? А если нам поговорить об идеальном мужчине?

Идеального мужчины не существует. Идеальный мужчина – это тот, кого ты любишь в настоящий момент. Он может быть почти ребенком, а может – восьмидесятилетним стариком, тут нет закона. Может быть юнцом или дедушкой. Может быть защитником или сам нуждаться в защите. Никак не вырваться из плена общих мест, когда говоришь об идеальном мужчине... Я такого не знаю, я знаю мужчин. И знаю, что в отношениях с ними мы проходим несколько стадий. Сначала, еще девчонками, немного побаиваемся. Позже, лет в шестнадцать-семнадцать, развлекаемся от души, водя их за нос. Потом познаем настоящий опыт, то есть любим мужчину и занимаем привычную позицию, оборонительную или наступательную, смотря, насколько сильно обожглись. В конце концов, у нас складывается представление о мужчинах, и оно, я думаю, меняется с возрастом.

Все же, разве нет, так сказать, постоянных величин?

А как же; не говоря даже о сексуальной стороне, есть мужчины, которых мы предпочитаем в любом возрасте: те, кто любит общество женщин. Таких мало. Многие мужчины любят только своих друзей, или свои дела, или себя, но есть и такие, что любят общество женщин.

А молодые мужчины? В ваших романах вы, как правило, отводите им не самую приглядную роль. Они часто не могут найти своего места в жизни.

Молодые люди порой жалки, ведь трудно выдержать столкновение с жизнью, когда ты молод; перышки теряешь. Но лучше потерять их рано, чем поздно.

Физическая красота не имеет значения?

Иные женщины говорят: «Плывать я хотела на красивых мужчин, главное – личность». Взгляните-ка на пляже на личность с большим животом и редкими волосенками... Вам куда приятнее будет полюбоваться на красивого и загорелого инструктора по плаванию. Красота может быть реальной силой. Когда женщина очень красива – это еще не все, отнюдь, это не может не влиять на ее жизнь.

А у мужчин, по вашему мнению, есть в принципе любимый тип женщины?

Я убеждена, что большинство мужчин предпочитают тип Мэрилин Монро. И не верьте тем, кто это отрицает... А вообще, откуда мне знать? Каждый ищет образ в соответствии с тем, как он видит себя. Это непросто: слабый мужчина, чувствующий себя сильным, ищет слабую женщину, чтобы защищать ее, и вот вам двое слабых... они могут быть счастливы – или наоборот. Каждый платит за свои фантазмы. И сильные тоже дорого платят. Лично мне грех жаловаться, у меня в финансовом плане все в порядке,

но мне, как и всем французам, не нравится, что на наши деньги делаются ракеты и атомные бомбочки. Я не против платить налоги, если эти деньги идут на тех, кто в них нуждается, на стариков, на больницы. Но мы живем в мире денег.

А издатели? Тут мы можем поговорить одновременно о мужчинах и о деньгах.

Вот именно. После Жюльера все без конца говорили со мной о контрактах, а я предпочла бы поговорить о моих книгах. Рене Жюльяр ушел от нас, Жизель д'Ассайи тоже, не осталось никого из тех, кого я знала, когда пришла в издательство. И тут я познакомилась с Анри Фламарионом. Он сказал мне: «Мой отец содержал танцовщицу, это была Колетт, единственная тогда женщина в издательстве, и с тех пор нам не хватает танцовщицы». И я ответила: «Вы обратились по адресу, я замечательно танцую». А потом он сказал именно то, что я хотела услышать: он хочет, чтобы я осталась у него на всю жизнь, если я состарюсь и останусь без гроша, он обо мне позаботится, деньги – не главное, отношения между автором и издателем должны строиться на полном доверии. Он дал мне чувство уверенности в завтрашнем дне, не столько в материальном, сколько в моральном плане. Я люблю непринужденные отношения, чтобы не приходилось говорить о деньгах и думать, что меня покупают, как мешок угля.

В сущности, вы человек простой...

Нет простых людей, вы шутите. Впрочем, некоторые и вовсе считают меня сумасшедшей. Почему людям обязательно нужны сильные выражения? Со мной, может быть, и трудно, но я не сумасшедшая в том смысле, который они вкладывают в это слово.

В вас порой чувствуется некоторое уважение к приличиям.

Я соблюдаю приличия в той мере, в какой это соблюдение упрощает жизнь. Я, например, не валяюсь под столом в ночных заведениях просто потому, что придется же как-то подниматься... Но я ненавижу людей, которые без всякой причины, разве только по собственной глупости, объявляют себя блюстителями нравственности.

Дело-то в том, что у всех людей одни и те же сложности, одни и те же проблемы, один и тот же страх перед жизнью и перед смертью.

И даже с мертвыми мы мелочимся! Я писала об этом в «Ангеле-хранителе»: «Стоит человеку умереть, как его торопятся упрятать в черный ящик, поплотнее закрыть тяжелой крышкой и зарыть в землю. От них спешат избавиться. Иногда еще их лица подкрашивают, подгоняя под свой вкус, и при бледном электрическом свете выставляют на всеобщее обозрение. Сперва обездвигивают, затем искажают. А по мне, надо хоть десять

минут дать им погреться на солнышке, отвезти их к морю, если они его любили, подарить радости земли перед тем, как они навеки смешаются с нею. Нет, их наказывают за то, что они умерли. В лучшем случае им сыграют немного Баха, церковной музыки, которую большинство из них никогда не любило...»^[9].

Оставим смерть и вернемся к жизни. Если вынести за скобки Литературу – с большой буквы, как пишете ее вы, – можете нам сказать, что интересует вас в жизни?

Самое увлекательное для меня в жизни – это люди и политические события. Есть вещи, за которые я пошла бы на плаху. Я готова рисковать жизнью за тех, кого люблю, и против любой организованной несправедливости.

Это первый шаг к идеалу. Как вы думаете, у вас есть идеал?

Я думаю, идеалы приходят в силу обстоятельств. Мы восстаем «против» чего-то, и это становится идеалом.

Что для вас худшая из несправедливостей, о которых вы говорите?

Самым несправедливым в социуме я считаю социальное неравенство.

Это насущная проблема?

Насущные проблемы просты и всем известны: смерть, болезнь, бедность, усталость, скука, печаль, одиночество...

Все люди одинаковы?

Все разные, в том числе в своих глубинных запросах, но если бы хоть половина людей, способных чувствовать и понимать, дала себе труд посмотреть вокруг, возможно – да, возможно, – это бы многое изменило.

Вам есть в чем упрекнуть общество?

Общество крадет время. Единственное, чем человек владеет, чтобы делать с ним, что ему хочется. Обществу на это плевать, у него нет никакого уважения к отдельным личностям. Все происходит, как если бы каждый жертвовал десять-пятнадцать лет своей жизни на алтарь экономики. Не говоря уж о годах старости, более или менее мрачных. Есть во всем этом какой-то изъян.

Взять хотя бы телевидение: это же просто беда. Оно дает людям иллюзию общения, семейной жизни, в той мере, в какой они вчетвером одновременно смотрят одно и то же на одном экране. Абсурд. Спросите у четырех католиков, о чем они думали во время мессы. Мысли у всех четверых были, во-первых, очень далекие от мессы, и, во-вторых, совершенно разные. Эта видимость близости, когда четверо сидят у телевизора, удручает, потому что это, как раз наоборот, дает возможность не разговаривать друг с другом. Когда люди сидят вокруг стола и нет никакого телевизора, они как-никак прилагают усилия, чтобы

общаться. Говорят о соседке, о саде, о погоде – да о чем угодно. Телевидение упраздняет беседу как таковую и вдобавок по большей части ужасает своей банальностью. От всего так и шибает скудным бюджетом или нехваткой воображения. Ох! Это шутовство в «Интервиль»^[10]... или наоборот, такое интеллектуальное самодовольство! А люди живут в усталости и одиночестве. Однажды я слышала нечто немыслимое. Я редко слушаю радио, но в тот раз наткнулась на передачу, которая «устраивает браки». Кандидат в женихи был крайне неприятный. Год назад потерял жену, никого, кроме нее, не любил, оплакивал ее каждый день; ему шестьдесят лет, не красавец, но настоящий мужчина – по его словам, и у него семеро детей. Он жил в Брюсселе, в частном доме с садиком. Не хотел нанимать прислугу, вопрос принципа... В общем, описывал он сущий ад. И нашлось ведь несколько женщин, которые ему позвонили. Так вот, одной из них он ответил: «Вы курите? Тогда – нет».

Красиво, в самом деле.

Все... все, что угодно, лишь бы не одиночество, говорю вам.

Из этих возмущений, из чувства несправедливости у вас сформировались политические убеждения?

Я помню, как в 1956 году Марсель Оклер^[11] писала: «Франсуаза Саган не коммунистка, она анархистка, она нигилистка. На свой манер она бросает бумажные бомбы, которые по мере своих возможностей усугубляют распад нашего общества...». Она не видела тогда, что мир уже давно трещит по всем швам... и вот-вот рухнет. Мы силимся забыть об атомной бомбе, но она существует. Жизнь человеческая... тоже, пока.

А молодежь?

Молодежь? Какая у нее цель? Что вы хотите... Они по большей части даже не занимаются любимым делом. Единственные, у кого еще есть надежда, – это коммунисты.

В сущности, у вас есть скорее политическое чутье, чем подлинные убеждения?

У меня нет исторического образования, мои взгляды – это скорее рефлексы на то, чего я не выношу: насилие, нищету, лицемерие.

И как далеко вы готовы пойти, отстаивая свои позиции?

Я не состою ни в какой политической партии, но тяготею к левым. Мне ненавистно убийство, начнись война, я бы уехала. Куда? Не знаю... Но случись фашистское нашествие, я бы сражалась. Да, сражалась бы против неправого дела.

С надеждой или без иллюзий?

Надо иметь убеждения, но не стоит обольщаться. Знаете фразу Достоевского: «Как много времени нужно, чтобы

убеждения, которых мы придерживаемся, стали нашей плотью...». Миром правят экономические интересы, неподвластные простым смертным. Ну, а в плане забот – каждому свой маленький садик: интеллектуалам – тревоги и проблемы, коммерсантам – налоги, а рабочим – отсутствие садика и даже отсутствие домика в отсутствие садика.

Несколько лет назад вы голосовали за де Голля.

В 1965-м я голосовала за де Голля, потому что он казался мне единственным человеком, проводившим левую политику, невзирая на некоторые карикатурные аспекты. Если бы баллотировался Мендес^[12], я проголосовала бы за него, безоговорочно и от всего сердца. То, что сделал де Голль, совпадало с моими взглядами: деколонизация, продвижение на Восток. Пример: «Манифест 121»^[13]. Я часто была против де Голля, но в 1965-м больше доверяла левому настрою де Голля, чем Миттерана.

В этом, 1974 году, вы голосовали за Миттерана.

Обстоятельства изменились: сегодня он представляет левые силы. Но в 1965-м миром правили апатия и уныние, и только де Голль был готов на любые действия (хоть в шутку, хоть всерьез), чтобы, в определенной форме, которая могла кое-кому показаться странной, поддержать левые идеи. Добавлю, что «судьба» генерала де Голля отпугивала меня. Доля комедии у де Голля была огромна, и сам он должен был знать это лучше, чем кто-либо, но комедия делала свое дело: все покупались! «Судьба» – это слово Мальро. Я не люблю судьбы. Вот что особенно восхищает меня в Сартре: он не хочет судьбы. Он не озабочен своим образом, своей фигурой, траекторией своей жизни, следами, которые он оставит в Истории, и т. д. Нет, его жизнь полна непредвиденного, извилиста, насыщена, неупорядочена, не скроена по лекалам. Да, я очень восхищаюсь Сартром.

А как же доминирующая идея Сартра об ответственности писателя, ангажированности...

Ответственность писателя. За что ответственность? Знать бы... Не думайте, что я не живу в постоянном негодовании и поэтому не способна занять активную позицию, как Джоан Баэз^[14] или Джейн Фонда, отдавая все силы. Но у них иные условия. Они живут в стране, где остро стоит расовая проблема, а война во Вьетнаме еще является повседневной реальностью. В пору войны в Алжире, когда я видела карательные акции, атаки полицейских на бульваре Бон-Нуviel, видела, как расстреливали автоматными очередями безоружных алжирцев, я думала, что этому нужно положить конец. И тогда я действовала, я заняла активную позицию. В защиту Джамили Бупаша^[15], например.

ОАС^[16] даже пыталась меня взорвать. Да уж, давала я жару...

Но думаете ли вы, как Сартр, что писатель должен заниматься политикой?

Писатель должен или не должен интересоваться политикой. Он свободен. Если его затрагивают те или иные проблемы, он это делает – вполне логично. Если же его волнуют исключительно эстетические вопросы, он этого не делает, вот и все. Писатель – дикий зверь, запертый в клетке наедине с собой. Он выглядывает – или не выглядывает – наружу в зависимости от того, находится ли у него на это время.

У вас нет желания изменить современное общество?

Современное общество представляется мне неким хаосом, довольно-таки разнузданным и небезболезненным для тех, кто в нем живет. Лично я смотрю на него как бы со стороны. Я чувствую себя порой немного ископаемой. Мне нравится жизнь, мало похожая на сегодняшнюю. Думаю, что все те же люди по-прежнему у власти, все те же идиоты сбрасывают бомбы на Вьетнам или еще куда-то. Это одновременно возмутительно, неизбежно, ужасно. Но не хуже Инквизиции или драгонад^[17].

Настоящее не хуже прошлого. А будущее?

Или наступит всеобщее оупение, или произойдет катастрофа типа атомной бомбы. Или еще что-нибудь... но моей фантазии на это не хватает. Счастлив уже тот, кто верит в завтрашний день человека, – но его будущее, его счастливое будущее?

Мы возвращаемся к вашему пессимизму.

Я с пессимизмом смотрю на цивилизацию, какой мы ее знаем и зачастую творим. В той мере, в какой у людей нет времени узнать друг друга, понять друг друга, просто нет времени... Времени – вот чего нам не хватает. Я убеждена, что по вечерам в Париже все меньше людей занимаются любовью. Наверняка все слишком устают.

Вспоминаю май 1968-го – это было великолепно. Свобода, какой еще не видывали. Беда в том, что дороже всех заплатили рабочие, самые бедные люди. Не студенты. Но какой же поваяло свободой... с ума сойти!

Май 68-го – это было решение проблем?

Единственным ответом зашедшей в тупик политике мог быть взрыв. Но последствия оказались тяжкими для бедняков; для тех, кто платит все более высокие налоги, это неважно, ведь у них есть средства, чтобы их платить. Черета взрывов – это не решение проблем. Нужен один радикальный взрыв, взрыв огромной силы.

К которому вы – лично вы – пытаетесь подтолкнуть?

Я не уверена, что могу повлиять на преобразование общества. Например, вернемся к Сартру: с его потенциалом труда и

интеллекта он мог и писать романы, и участвовать в событиях. Я же – нет. Есть вещи, которые мне ненавистны, газеты, которые я не могу читать, люди, которых не могу видеть, но это просто негативное отношение. Многие считают, что этого недостаточно. Не знаю, кто прав. В моральном плане это не мешает мне жить, ну, то есть мешает, как, скажем, неумение летать. А мне бы и правда хотелось уметь летать. В плане социальном это мне мешает, потому что я не могу не реагировать на некоторые гнусности. Но, думаю, в более решающей ситуации – во всяком случае, если я сочту ее более решающей, более трагической, – я не стану колебаться, нет, не стану.

А Движение за освобождение женщин?

С ним то же самое. В моем привилегированном положении меня напрямую не касаются проблемы, которые поднимает это движение. Несомненно, они правы, утверждая, что женщина работает больше мужчины, что после рабочего дня ей еще приходится заниматься детьми, домом и т. д.: жизнь ломовой лошади, да и только.

Аборты?

Аборты? Тоже классовый вопрос: если у вас есть деньги, все прекрасно, съездите в Швейцарию или еще куда-нибудь – и готово дело. А если денег у вас нет, зато есть пятеро детей и муж, который не предохраняется, вам придется обратиться к соседке-молочнице, у которой есть знакомая медсестра, у которой есть знакомый... который вас покалечит! Женщина вправе сохранить ребенка, только если очень его хочет. Я считаю, позорно давать жизнь человеческому существу, не желая от всей души сделать его счастливым (если можно поступить иначе). Вы, конечно, не можете быть уверены, что сделаете его счастливым, но можете быть уверены, что приложите для этого все силы. А многие женщины, забеременев, оказываются загнанными в угол.

Вы ведь и манифест подписывали...

Я подписывала манифест об абортах, это было действительно и необходимо.

Что же до этих рассказней, что надо освободиться от мужчин и так далее, – ну, знаете! Всегда были и будут мужчины, которые сильнее женщин и обращаются с ними жестоко; но всегда были и будут женщины, перед которыми мужчины ходят на задних лапках и терпят от них любые унижения. Движение за освобождение женщин рассматривает эти проблемы под углом, который кажется мне далеким от реальной действительности. У людей невероятно тяжелая жизнь, а их пытаются убедить, что они, возвращаясь вечером домой, не занимаются любовью, а смотрят телевизор по причинам сексуального плана... Это

неправда, они просто вымотаны, вот и все!

Но другие задачи Движения за освобождение женщин представляются вам более серьезными?

Конечно, у этого движения есть вполне насущные задачи, например, равенство в зарплате, пособия на детей. Закон благоприятствует мужчинам, это верно, но в него уже внесены изменения. И еще будут, это несомненно. Моя точка зрения, наверное, отсталая и очень католическая, но я убеждена, что, объединившись против мужчин, женщины вряд ли чего-нибудь добьются. Или добьются только на бумаге, а закон – это еще не все.

Как же тогда нам быть с мужчинами?

С мужчинами надо говорить, надо достучаться до них, чтобы они поняли. Для меня противостояние полов – понятие отжившее. Посмотрите вокруг, взгляните на молодые пары двадцати – двадцати пяти лет: один моет тарелки, другой их расставляет. По крайней мере, в этом смысле проблем, несомненно, уже гораздо меньше.

На самом деле менять надо режим и решать экономические проблемы.

Слушая вас, понимаешь, что единственный императив для вас – свобода. Ваша или чужая?

Я слишком хочу уважения к своей свободе, чтобы не уважать чужую. Равновесие – оно не в отчаянных поисках чего-то другого; не надо хотеть того, чего не имеешь, или сожалеть о том, что имеешь. Не терзаться попусту и принимать жизнь такой, какая она есть.

В общем, равновесие...

О! Я знаю, что значит говорить о равновесии в моем случае: немало людей посмеется и еще больше возмутится. А что значит для многих из них равновесие? Соблюдать во всем меру и быть при этом в высшей степени неуравновешенными. И с успехом делать глупости и выскальзывать из них этакой рыбкой. Для меня равновесие – это ложиться вечером в свою постель без страха и просыпаться в ней утром без уныния. Чтобы твои мысли о себе были в ладу с твоей жизнью. Чтобы сохранялось положение вещей, которое никогда не покажется тебе ужасным.

Вам никогда не кажется, что вы человек немного особенный?

Когда пишешь, это чревато многим. К примеру, необходимым одиночеством. И проистекающей из него потребностью в постоянных переменах. К тому же это порой ослепляет, но о каком-то своем особом месте я и помыслить не могу. Я знаю свое место в том смысле, что занимаю столько-то квадратных метров, что родилась в таком-то году. Я знаю свое место в пространстве и

во времени, но своего места в мире не знаю. Я поддерживаю довольно дружеские отношения с самой собой, потому что могу себя выносить, но держу дистанцию, потому что собой не увлечена. Я говорю себе: «Слушай-ка, у тебя встреча в таком-то часу», или: «Бедняжка моя, что-то ты неважно выглядишь», или: «Знаешь, милая, надо бы тебе об этом поразмыслить». Вот и все.

Что для вас значит «мне хорошо»?

В сущности, лучше всего я себя чувствую, когда просыпаюсь в хорошем настроении. И потом, я принимаю все всерьез. Прежде всего – уважение людей, затем – литературу. Да все что угодно, но только не себя.

Вы изменились за двадцать лет?

В двадцать лет я могла совершенно измениться под чьим-то влиянием или открыть нечто для себя через кого-то; теперь – нет, не думаю. Я могу изменить жизнь, быть счастливой или несчастной, но больше не могу изменить череду рефлексов, которая и есть я. Перемены во мне теперь зависят только от меня.

Но у вас еще остались тревоги, радости?

Мои тревоги? Проснуться в восемь часов утра и спросить себя, почему я живу на земле и почему умру. Мои радости? Выпить с кем-нибудь по стаканчику, поговорить, обняться. Тревоги и радости так многообразны, что бывает, все оборачивается своей противоположностью и вчерашняя тревога становится завтрашней радостью.

...Раздражение?

Меня раздражает претенциозность, самодовольство и эта интеллектуальная фальшь, фальшивая речь, что процветают сегодня. От этого мне хочется лезть на стенку.

Вы привязаны к вещам, к местам?

Я ненавижу вещи, люблю не иметь ничего своего, мне просто некогда владеть. Я люблю читать, но когда прочту книгу, отдаю ее кому-нибудь. Правда, я всегда таскаю за собой одни и те же старые вещи: старое пианино, старенький продавленный диван. Но меняю рамки: новые окна, новые виды. Сама я ничем не занимаюсь. Даже исчезаю на время переезда. А когда возвращаюсь, мне говорят: «Ваша комната – вот эта». И я радостно иду располагаться. Я по натуре кочевница. С удовольствием жила бы в гостинице, но с ребенком это невозможно.

А мода?

Моду не люблю, избегаю ее, как могу, на всех уровнях. Однажды я предложила редактрисе женского журнала составить для нее специальный номер с полной противоположностью тому, что обычно предлагают: как лениться, как стать старой, некрасивой, толстой и унылой за две недели. Боюсь, моего юмора

не поняли. Меня ужасают женщины, которые следят за модой, одеваются все на один манер и слепо следуют всем «добрым советам» женской прессы. Кто бы сказал молодым девушкам, чтобы не верили всей этой чуши типа «будьте красивы, уравновешены, спокойны, счастливы»...

Вы, похоже, ненавидите сильнее, чем любите.

Скажем так: признаться в любви я стесняюсь больше, чем в ненависти. Итак, я ненавижу сладкие духи, пластик, телевидение – телевидение просто не выношу. Еще я ненавижу скупость, зависть, нетерпимость. Не выношу, когда намеренно демонстрируют дурные манеры, когда кого-то при мне унижают. Ненавижу расизм во всех его проявлениях. Ненавижу недостаток воображения, конформизм; меня злит скорый суд, а еще высокомерие, самомнение и этот глупый страх, из-за которого каждый старается быть хоть в чем-то выше других, потому что он ариец, или еврей, или беден, или богат. Все идет в ход, чтобы выглядеть самым умным. И еще я ненавижу самодовольное невежество.

Что ж, всего этого хватает, чтобы оживить ваши беседы за обедом.

Всего этого хватает, чтобы оживить обед, но я теперь обедаю только у людей, с которыми близко знакома, и знаю, что они тоже задаются вопросами, что им ведомы сомнения. Я пребываю в постоянном внутреннем движении. Люди, закосневшие в своей уверенности, – нет! Не могу выносить. И потом, все нейтральное, холодное меня убивает. Но вот что самое странное: те, кто способен на нежность, любовь, понимание, а таких, в конечном счете, довольно много, обычно стыдятся высказывать чувства, им кажется, что это уронит их в собственных глазах и в глазах других. Но ведь всякий, кто нежен и раним, всякий loser^[18], оказывается, в конце концов, winner^[19]. Если ты сложил оружие, ты неуязвим; это я давно знаю...

Вы когда-нибудь выходите из себя?

Мне случается выходить из себя не чаще одного-двух раз в год... Это значит, что я себе неподвластна, и это я тоже ненавижу. Но есть вещи, которых я не могу выносить: с расистами или правыми я не в состоянии даже просто разговаривать. Умничанье, софизмы действуют мне на нервы. И потом, личное. Вот это ужасно. Я так боюсь того, что скажу, так боюсь, что поспешно выталкиваю людей из дома, после чего делаю себе больно: пускаю кровь, как Людовик XIV! Разбиваю рукой окно, кровь течет, а я дышу. Иначе задохнусь. Но прежде я всегдаставляю из дома людей как могу вежливо. Меня захлестывает гнев; это ужасно, как подумаю, что мой дед умер от гнева в такси, из-за того, что

шофер ошибся дорогой...

Вы часто говорите о крайностях, а ведь с виду не найти никого спокойнее, безмятежнее вас...

Я выгляжу спокойной, но если мне случается загрустить, я знаю, что могу обрести равновесие только в крайностях. Я чувствую себя отдохнувшей только за гранью усталости, спокойной – за гранью тревоги, а книгу писать начинаю только в самой глубине отчаяния.

И потом, я теряюсь при мысли, что остановлюсь когда-нибудь на единственном представлении о себе, не буду способна адаптироваться, проникнуться, застыну, как многие другие, и мне это будет не смешно. Потому что катастрофы меня смешат. Я до сих пор со смехом вспоминаю, как сказала Караяну^[20], что мое любимое произведение Брукнера – «Форель»!^[21]

Это была катастрофа?

На том обеде это была катастрофа.

Какой вы видите себя?

Я вижу себя скорее беспечной, чем пустой, впрочем, по мне лучше прослыть пустышкой, чем закоренелой интеллектуалкой.

Вы свободная женщина?

Разглагольствования о свободной женщине, ответственной и уверенной в себе семь часов в день в своем рабочем кабинете, мне невыносимо скучны. Я люблю мечтать, ничего не делать, смотреть, как течет время, и никогда не испытываю при этом чувства пустоты или скуки: это и есть свобода. Я по-прежнему не способна заставить себя делать то, что мне скучно; я принимаю жизнь такой, какая она есть сейчас, смотрю направо, налево, но ни назад, ни вперед.

Можно сказать, что вы счастливы...

...Но это не значит, что я обязательно счастлива.

Вы так ленивы, как о вас говорят?

Очень ленивой быть очень нелегко, потому что это предполагает, во-первых, воображение, чтобы ничего не делать, во-вторых, уверенность в себе, чтобы не мучила совесть за то, что ничего не делаешь, и, наконец, вкус к жизни. Чтобы каждая проходящая минута казалась самодостаточной и не приходилось говорить себе: я сделала то-то и то-то. Чтобы ничего не делать, нужны также очень крепкие нервы, чтобы уважение окружающих и желание доказать самой себе, на что ты способна, были для тебя пустым звуком.

И все-таки работать вы тоже любите.

Я ленива, но и работать люблю; удовольствие пересиливает лень, и периодически я работаю. И вообще, я славная, это лучшее мое качество.

Вы, может быть, так и не повзрослели. Вы сами это говорите. Но постарели ли вы?

Когда мы очень молоды, мы жадны до жизни. Позже нас уже не так легко удовлетворить, зато мы хорошо понимаем, что рождаемся и умираем, а в промежутке живем... В старости меньше радостей, но больше интереса. Я не боюсь старости – меня пугает другое: что каждый выход больше никогда не станет приключением, пусть даже приключение это – всего лишь обмен улыбками. Для меня старость имеет прямое отношение к физической любви. Страшно, если не сможешь больше вызвать того, что называют желанием. Умереть в пятьдесят лет или жить чем-то другим – грустно. Никогда больше не встретить Незнакомца. Все-таки лучше всего разговаривать лежа в постели, бок о бок. Исключить из своей жизни приключение – ай-ай-ай! Но, наверное, можно так или иначе смириться со своим возрастом. Когда мне будет пятьдесят лет, моему сыну будет двадцать пять и, может быть, маленькие детишки уже будут забираться ко мне на колени!

Вы будете рады стать бабушкой?

Буду счастлива или убита, не знаю.

И потом, когда в жизни будет меньше сиюминутных радостей, вот тогда-то я и напишу хорошую книгу.

Это счастливая старость. А какая старость была бы для вас печальной?

Худшее, что я могу представить для себя, в конечном счете, – это я в Гонкуровской академии или в жюри премии «Фемина», с Маргерит Дюрас, Франсуазой Малле-Жорис и Женевьевой Дорманн, и все четыре безропотно несут свой возраст... это был бы Апокалипсис, Иероним Босх. Хоррор на четверых...

Вы не гонитесь за почестями...

Двадцать лет знаю я эти почести, и двадцать лет они оставляют меня равнодушной. Вряд ли я проснусь. И потом, почести – они разные для разных людей. Смотря как их себе представлять. Это может быть десяток страниц в «Лайф», или орден Почетного легиона, или звание Рыцаря ордена искусств и литературы... брррр... Орден сельскохозяйственных заслуг, да, может быть, смеха ради. Или председательство на конгрессе шуток и розыгрышей! Да ладно, все это пустое, не правда ли? Зачем мы родились? Что мы делаем на земле? Куда идем? Настанет день, и Франсуаза Саган – фьють!

А пока какое ваше любимое времяпрепровождение?

Мое любимое времяпрепровождение – смотреть, как проходит время, располагать временем, не считаться со временем, терять время, жить не в ладу со временем. Ненавижу все, что отнимает

время, поэтому я люблю ночь. День – это монстр, день – это встречи. А ночное время – тихое море. Ему нет конца. Я люблю увидеть восход солнца, перед тем как лечь спать.

У вас не очень хорошие отношения со временем.

Это мое больное место. У людей нет времени вкусить проходящее время. Каждая минута могла бы быть подарком, а теперь она – лишь анклав между двумя другими минутами. А ведь каждая минута – это закон жизни – должна быть минутой, наполненной все равно чем – счастьем, солнцем, тишиной, истинным чувством. Но у нас нет больше времени на истинные чувства.

У вас-то есть время.

У меня есть время. Но я прекрасно знаю, до какой степени это привилегия... и страсть. Как бы то ни было, то, что не может быть страстью, перестает быть и привилегией.

А как теряют время?

По-моему, время теряют, только думая, что выигрывают его. Как в дурацкой игре на ярмарках, когда надо бежать по дорожке, которая движется в обратную сторону. Вот когда пытаешься бежать в обратную сторону, чтобы выиграть время, спотыкаешься, цепляешься за перила и, в конце концов, падаешь. Единственное, о чем я жалею, – что мне не хватит времени прочесть все книги, которые хочется прочесть. Но когда я смотрю на плывущие облака или делаю глупости – которые глупостями вовсе не считаю, – я не теряю время, потому что вижу, как оно проходит.

Главное – ощущать его не как летящую стрелу, но как вечный подарок.

Время, одиночество...

Вот тоже большая роскошь в наши дни – одиночество. Откуда ему взяться: работа – семья, семья – работа... У меня есть друзья, женатые мужчины и замужние женщины, которые мне говорили: «Пробки? Если бы ты знала, как в них спокойно. Единственный момент в жизни, когда можно побыть одному». Да, в пробках они недостижимы, они наконец-то одни, наконец-то свободны (бампер к бамперу) на целый час!

Это одиночество мужчин. А женщины?

Есть женщины, которые жалуются на одиночество... те, у кого в голове пусто. Я вот ему научилась и ценю его. Часто бывает, что в компании друзей я чувствую себя по-настоящему одинокой. Это одиночество я тоже люблю. Иной раз не сыщешь более уединенного места, чем ночное заведение. А бывало, мне вдруг хотелось пожить одной, независимо, самостоятельно, дать себе время «взять себя в руки», увидеть незнакомые лица. Просто посмотреть, погулять, попутешествовать, прожить недельку в

маленьком и скучном городке в Бельгии или поехать в Индию, в Тибет, в Россию; оторваться от слишком привычного.

Вы можете это сделать...

Время от времени одиночество необходимо, но я не забываю, что сказал Стендаль: «Одиночество дает все, кроме характера». И я не путаю вечерок в одиночестве, за чашкой чая и с хорошими пластинками, с настоящим одиночеством. Тем, которое всем знакомо, от которого не уйти и которое отнюдь не роскошь. Мы рождаемся одни и умираем одни. А в промежутке пытаемся быть не слишком одинокими. Я глубоко убеждена, что все мы в душе одиноки и от этого глубоко несчастны.

Неужели все об этом думают?

Мы пытаемся думать об этом как можно меньше и чем-то заполнять одиночество. Прежде всего любовью, о, эта догука! Из всех чувств, которые для меня желательны – любовь, восхищение, уважение, почтение, – дороже всего любовь.

Что это такое – любовь?

Обычно то, что зовут любовью, – это чувство эгоистическое, чрезмерное, желание обладать целиком и полностью. Но это совсем иное, это постоянная нежность, отрада, потребность в ком-то.

Можно очень сильно кого-то любить, а потом любовь превращается в дружбу, а дружба продолжается любовью.

В общем, это мирное чувство.

Нет, чаще всего любовь – это война. Битва, в которой каждый хочет завладеть другим. Это ревность, собственничество, обладание, даже, на первый взгляд, в самых великодушных ее проявлениях. И, как во всякой битве, в ней бывают жертвы. Всегда кто-то один любит больше, кто-то один страдает, а другой страдает, заставляя страдать. К счастью, роли могут меняться. Но есть какая-то нежность, благодаря которой мы принимаем человека, – это одновременно и доверие, и деликатность. Беда в том, что люди всегда стремятся выиграть в одной игре, проигрывая в другой. Мало кто доволен своим материальным положением или своей жизнью. Вот они и пытаются отыграться на других в любви, желая хотя бы тут оказаться в выигрыше. А выигрывать-то и нечего. Мы выигрываем, когда отдаем, когда предоставляем жизни идти своим чередом. И потом, есть такой фокус в любовных отношениях: дать партнеру видимость свободы, чтобы он задался вопросом, вправду ли его любят. Мне это очень нравится. И есть еще естественный ход мысли: ведь если кто-то с вами живет, с вами спит, с вами, главное, смеется, значит, он вас любит; с какой стати думать, что он пойдет на сторону? Это логично, не правда ли?

А есть ли в человеческих отношениях логика?

Иметь с кем-то человеческие отношения – значит быть с ним на равных, говорить с ним доверительно помимо любви; и это тоже называется дружбой. Любовь без дружбы – это ужасно. Если человек влюблен лишь в собственное отражение в глазах другого – все пойдет наперекосяк. Если любишь кого-то, любишь и его счастье. Когда любишь человека, который любит тебя, это предполагает и обязанности, и права – но прежде всего обязанности. Надо делать все, чтобы люди, которых вы любите, были счастливы, как счастливы вы.

Такое представление о любви было у вас всегда?

Мое представление о любви мало изменилось. Я всегда думала, что любовь играет очень важную роль в жизни людей. Но кое-чему я научилась: уважению, бережному отношению, я знаю теперь, до какой степени люди уязвимы. Я не знала, что любовью можно болеть. Не знала, что можно так страдать из-за кого-то, так терзаться, так метаться, быть таким несчастным.

Вы поняли это поздно?

Из-за возраста, из-за несколько запоздалого развития я лишь потом поняла, что есть некий абсолют, от которого я прежде шарахалась, но оказалось, что с ним очень даже комфортно жить. Нежность – эта своеобразная смесь теплоты и смирения – вот что было мне неизвестно. Приятие человека таким, каков он есть. Это не достоинство, нет, это инстинкт. Люди, не знающие нежности, требуют от вас того, чего вы не можете им дать. Нежность, в принципе, связана с какой-то внутренней силой. В любви это привязанность, понимание, это то, что называется «прикипеть» к кому-то.

А какое место в любви вы отводите сексу?

Все и ничего. Необходимо, но недостаточно. Как сказал Роже Вайян^[22]: «Любовь – это то, что происходит между двумя людьми, которые любят друг друга»... О сексе сегодня говорят слишком много – секс, какое тяжелое слово, клиническое, фармацевтическое, правда? – а ведь секс и любовь – это не одно и то же.

По-вашему, не надо говорить о сексе?

Не помню, кто сказал: «Я много занимаюсь любовью, но никогда о ней не говорю». Хорошо сказано. Секс, эротика – это не выставляется напоказ, это происходит впотьмах, это тайная церемония, черная и красная месса; нет, не то, но что-то красное, и черное, и золотое, что-то лирическое. Есть чувства, которые должны оставаться тайными: самозабвение, капитуляция, это совершенно обнаженное лицо, с которым не совладать в наслаждении. Месса... Я очень любила мессы в былые времена,

это было так красиво, но если бы их снимали от начала до конца, я бы не вынесла.

То есть вы не хотите быть невольной зрительницей?

Нет. Это область, в которой условность, неправда – я хочу сказать, в театре или в кино – больше всего меня смущают.

Интересно. А почему?

Потому что все можно сыграть: слезы, горе, любовь – все, кроме наслаждения.

Некоторым женщинам неплохо удастся его сыграть. Есть об этом очень трогательные страницы у Колетт [23] в «Чистом и порочном»...

Настоящее физическое наслаждение не сыграешь. Когда кто-то пытается его изобразить, у меня возникает смутное чувство, что на моих глазах совершается нечто кошунственное и бестактное. Возможно, это глупо, но это так.

Недавно я видела на частном просмотре Sunday, Bloody Sunday, «Воскресенье, как все»[24]. Так вот, по сравнению с эротическими фильмами, которые все сделаны как будто под копирку и скучны, история этого юноши, разрывающегося между женщиной и женщиной, показалась мне куда более смелой и волнующей, по-умному волнующей, чем все картины, в которых люди катаются по полу на звериных шкурах. И при такой непростой теме меня восхитило то, что я не увидела ни следа презрения или неловкости ни у режиссера, ни у актеров.

И сцена, где доктор с юношей целуются в губы, вас не смутила?

Нет, не смутила. Этот юноша – бисексуал, он не лжет ни себе, ни другим и не испытывает низменных и постыдных чувств.

Вы за откровенность и против эксгибиционизма. Но вы пишете, а ведь говорят, что нет худшего эксгибициониста, чем писатель...

Отнюдь. Нет ничего общего между писательским трудом и этими фильмами, где можно даже родинки сосчитать на спине бедного парня, который трудится над женщиной. Писать значит по-своему смотреть на вещи и передавать их. И вовсе не обязательно при этом говорить о себе. Это взгляд, лупа, микроскоп, если угодно. Но когда где-нибудь в гостинице я вижу перед собой двоих, которые, флиртуя, целуются в губы, мне неприятно и хочется попросить их уйти, я чувствую себя лишней и нахожу, что они чересчур далеко заходят. То же самое и в кино. К сожалению, когда сидишь в зале, уже не избежать ни эротики, ни насилия, ни крови.

То, чего вы не хотите видеть в кино, вы, однако, примете в такой книге, как «История О», которой, кажется, восхищаетесь...

Как бы то ни было, после «Истории О» появилось еще немало книг, отнюдь не являющихся шедеврами, и все эти фильмы, о которых мы говорили. Вам не кажется, что эта волна эротики, как сейчас говорят, изменила людей?

Это изменило не их природу, но их поведение. Они чувствуют себя обязанными быть «секси», как чувствуют себя обязанными быть стройными, загорелыми – да что там, и счастливыми. Когда после званого ужина пары одна за другой уходят, я знаю, что он сегодня ночью сыграет мужчину (если сможет, бедняга, ведь жизнь в Париже нелегка), а она сыграет женщину, ахая и вскрикивая. Они вместе сыграют в наслаждение, в обладание, в подчинение, в женщину-вещь и мужчину-тирана и бог весть во что еще... Или просто лягут спать, тоже может быть. И я всегда спрашиваю себя: кто же из них сыграет человека? Я спрашиваю себя: будут ли они разговаривать, есть ли у них язык тела? У меня большие сомнения на этот счет. Эта смесь эксгибиционизма и теорий Фрейда, глупо популяризированных и скверно усвоенных, создает некую обязанность заниматься любовью или афишировать связь, даже если это, в сущности, не доставляет удовольствия. Я уверена, что в этом люди отчаянно лгут себе и друг другу. Если у тебя нет любовника или любовницы, ты обездоленная женщина или жалкий тип.

Любовь или любовный акт как обязанность...

Любовный акт – это удовольствие. Вам хочется кого-то или нет. Секс – это дело вкуса. Это не обязанность. Или вы любите кого-то, кто вам приятен, и если он с вами, тем лучше. А если никого нет – что ж, можно и поспать. Никому не повредит парутройку месяцев пожить спокойно. Кстати, если ищешь удовольствия, вряд ли его найдешь. И его не может быть без близости, физической, а зачастую и умственной, когда двоим хорошо вместе, разговоры затягиваются допоздна и на душе тепло.

Мне тошно от этой волны эротики, она меня возмущает. Тут нужен намек, а не провокация. Какая скука, какая скудость воображения! Уж если вправду так хочется эротики, лучше вернуться к де Саду или Мазоху, связывать людей, избивать хлыстом и сыпать соль на раны. Но выставлять повсюду напоказ голых людей, занимающихся любовью... это невыносимо: при свете и впотьмах, в ночной рубашке, в пижамной куртке и вовсе без ничего, с разговорами и молча, с криками и без криков и так далее. Зачем это все? Это афиширование секса лишает любовь всей прелести тайны. Раньше можно было видеть, как между двоими, не обязательно любовником и любовницей, происходило что-то, что заставляло вас думать: «Надо же, они любят друг

друга, они друг друга хотят». И этот взгляд – это было чудо. А теперь – хоп! – бросаются друг на дружку, целуются взадос, как будто надо постоянно что-то утверждать, доказывать окружающим и себе...

Вы, кажется, тоскуете по романтике.

Сегодня романтика не в чести. А жаль, потому что людям свойственны страсти, а где страсть, там и романтика. Романтика, которая и есть воображение, влекущее за собой сердце.

Филемон и Бавкида – такое возможно в жизни?

Я верю в Филемона и Бавкиду, но как в исключение... которое можно повторить.

А лично вы часто его повторяли?

В моей жизни было не так уж много страстей, но все же пару-тройку могу насчитать. Страсть – это страсть как увлекательно, но не слишком часто. Я еще вполне могу вспылать бурной страстью к какому-нибудь идиоту, который послезавтра увезет меня в Бразилию, все может быть, но постучим по дереву. При моем образе жизни понятно, что у идиота мало шансов увезти меня в Бразилию, но, как бы то ни было, ветер безумия рано или поздно врывается к вам без стука. И тут можно натворить глупостей, которые заведут не в Бразилию, а гораздо дальше. Вот, к примеру, вспылайте страстью к алкоголику, уверяю вас, это будет путешествие куда дальше Бразилии. Можно десять раз облететь вокруг света, не выходя из комнаты.

И как долго, по-вашему, длится страсть?

У меня никогда не было страсти, которая длилась бы дольше семи лет: говорят, наше тело каждые семь лет обновляется. Это всегда чудесно в самом начале. В середине еще лучше. А в конце... смотря кто быстрее устанет. Как бы то ни было, это грустно. Всех, кого я в жизни любила, я любила и после. «После» – это когда нет больше согласия головы с телом. Работает только голова... Но что-то все-таки остается, как шрам. Не в печальном смысле слова. Почетный шрам. Лучшая награда...

У вас много наград?

О! Как-никак пять или шесть шрамов-наград, наверно, есть...

Думаете ли вы, что верность в любви необходима, и что можете сказать о ревности?

Верность в любви, думается мне, возможна, хоть это и нелегко, а вот ревность – чувство, всегда повергавшее меня в панику. Я знавала ревнивцев: это ужасно, это всегда разрушительно, прежде всего для них самих. Они мучаются и мучают, и это губит все. Думается мне, что ревность, когда сам ревнивец ее приемлет, более того, отстаивает как добродетель, становится страшным недугом.

Вы не собственница?

Нет, и собственничество в людях, будь то в любви или просто в жизни, мне кажется ужаснее всего. Они хотят все держать в руках: деньги, положение, работу – и забывают предоставить другим толику свободы. Забывают о счастье других. Они слишком заняты собой, желая иметь все свое и аккуратно рассортированное: ящичек для карманных денег, ящичек для удовольствия, ящичек для развлечений и прочее – и все это должно быть в порядке раз и навсегда. Страсть к порядку утоляется собственничеством.

Это, по-вашему, не любовь?

Любовь – это доверие. Любовь, основанная на ревности, – гиблое дело, потому что ее превращают в битву, в борьбу. Понять, что мужчина вами дорожит, потому что ревнует, может быть, и упоительно, это, конечно же, проявление любви, но, боюсь, одно из последних. Все эти игры ревности, на мой взгляд, жалки. Я за любовь-доверие, целиком и полностью, ну, а если вас обманут – что ж поделаешь. Это всегда обходится много дороже тому, кто обманывает, чем обманутому. Дело в том, что многие ищут в любви пароксизма и пользуются ревностью, чтобы его достичь. Да, их партнеры очаровываются, но чем? Насилием. Это не человеческие отношения, нет, это отношения господина и слуги или палача и раба.

А вы – разве вы не хотите, чтобы мужчина, которого вы любите, был вашим господином, вашим собственником?

Верно, если женщина не чувствует в любимом мужчине этой потребности удержать ее, сохранить, она очень несчастна. Вообще-то, ревность должна бы быть веселой, пусть мужчины устраивают вам водевильные сцены. Тогда вы почувствуете, что это мало-мальски серьезно, что он все же видел, как вы поглядывали на такого-то, но необязательно ему всякий раз закатывать дьявольский скандал.

Вы за скрытую ревность... А если она прорвется наружу?

Ревнивец должен скрывать свою ревность. Иначе партнеру остается только бежать. Уйти. Бегство пойдет на пользу и ревнивцу. Ему станет легче, ибо ревность подпитывается присутствием. Когда любимый с вами, искать его везде, по всему городу – это рефлекс. А если он у черта на куличках и ничего с этим не поделаешь, воображение иссякает... что в данном случае спасительно!

А вы сами ревнивы?

По натуре я не ревнива, но мне случалось ревновать, потому что мне давали повод. Сама я не стала бы его искать. Однажды я встретила любимого мужчину с дамой, которую он представил

мне как знакомую из провинции. И я поверила, потому что, как все люди, которые легко врут, я очень легковерна. А друзья смотрели на меня с убитым видом.

И тогда вы испытали ревность?

Вообще-то, мои тогдашние муки были не вполне ревностью. Я чувствовала скорее разочарование. Я думала: «Как глупо он поступил! Почему? Почему он это сделал? Почему не сказал мне правду?»

Разве не это и есть ревность?

Я не люблю этого чувства, поэтому всегда пыталась подменить его в собственных глазах разочарованием и печалью, но тогда я действительно физически ревновала.

И скрывали это...

Скрыть можно все, это элементарная вежливость. Я чувствую в таких случаях своего рода презрение, которое отнюдь не разжигает во мне страсть, наоборот, убивает ее.

Как по-вашему, существуют ли степени измены?

Если мужчина, изменяя вам, рассказывает об этом и смеется за вашей спиной, – это настоящая измена; если он бывает с другой у ваших общих друзей – это оскорбление, на мой взгляд, непростительное. Если же он проведет часок у женщины и вы об этом не узнаете – да если и узнаете, все равно, что такого? Это не страшно. Самое обидное – это когда любимый мужчина «интересуется» другой женщиной. Я могла две ночи не спать и плакать в подушку, оттого что ревновала, – но я могла не спать неделю, оттого что была счастлива.

Это и есть счастье?

Это и есть счастье; не нужна пища, не нужен сон. Можно бодрствовать всю ночь, подобно птицам. Поверьте, это факт. Это невыразимая благодать с неисчислимыми последствиями. Как прекрасны лица счастливых людей (любящих и любимых); в них есть что-то нездешнее, взгляд – даже не знаю, как сказать, – печальный и ясный одновременно.

Вы можете точнее описать, что такое счастье?

Счастье – это когда тебе не бывает совестно за то, что ты делаешь; когда не гордишься, но и не стыдишься; когда тебе комфортно жить. И веселиться, и общаться с теми, кого любишь. И еще это море, солнце, трава...

Вам, похоже, легко быть счастливой. Есть люди, которым, что бы они сами ни говорили, легче быть несчастными: они этим как бы подпитываются.

Мне куда легче быть счастливой, чем несчастной. Некоторые любят свое несчастье; я же его ненавижу. Я думаю, мы становимся умнее, человечнее, лучше, когда счастливы. Несчастье – оно как

болезнь, в нем замыкаются.

Есть ли разные виды счастья?

Есть два вида счастья: первое приходит неожиданно, сваливается как кирпич на голову – любовь, что же еще, взаимная любовь. И есть другое счастье: просто любить жизнь, быть с ней вежливым, и она, как правило, отвечает вам тем же.

Это, похоже, ваш случай...

Я очень люблю жизнь, и мы с ней не раз успешно флиртовали.

А брак? Совместим ли он с любовью?

Брак, по-моему, дело хорошее. Жить вдвоем, когда люди любят друг друга, – это, на мой взгляд, идеально. Но совместная жизнь – это же ужас. В сущности, проблема брака проста. Или вы предпочитаете жить с кем-то, идя на уступки, или скука жизни вдвоем оказывается сильнее удовольствия от близости друг друга.

Если можно предпочесть жить с человеком ценой каких-то уступок, разве это не может быть на всю жизнь?

Любовь на всю жизнь – в этом нет ничего невозможного. Все может быть.

И это снова Филемон и Бавкида. При каких условиях, по-вашему?

Нет рецептов долгой и счастливой любви.

Так или иначе, у вас было несколько мужей. Как вы относитесь к ним теперь и как они к вам?

В конечном счете со всеми моими мужьями мы остались друзьями. И теперь у меня все те же друзья. Надо бы создать что-то вроде заповедника для мужчин моей жизни... вот только... боюсь, там будет слишком много народу...

В какой момент, по-вашему, женщина чувствует, что любовь прошла?

Когда становится скучно, до дрожи скучно, холодно и неуютно, надо бежать. Оставшись, разрушишь себя изнутри и причинишь боль партнеру, потому что он не может не замечать, не чувствовать. Или войдешь во вкус, полюбишь мучиться или мучить, что не лучше.

Скука – это страшно?

Скука – это как микроб, который каждый может подцепить. Если женщина скажет мне: «Я скучаю дома, муж мне надоел, дети меня раздражают», я ей отвечу: «Идите работать!» Если она заявит: «Я скучаю постоянно», я скажу ей: «Выброситесь в окно!» Говоря о скучающих людях, их представляют с вытянутым лицом и апатичным видом. Для меня это люди, которые так и не нашли ничего для себя в жизни. А в любви – это когда двоим становится неинтересно друг с другом.

Что представляется вам практически неизбежным?

Да. Есть, должно быть, серьезная и глубокая причина того, что человек по прошествии пяти, шести или семи лет раскрывается до конца в плане чувств, интеллекта, воображения. Ровное настроение – это прекрасно до тех пор, пока не захочется, чтобы что-нибудь произошло. Клетки тела обновляются каждые семь лет, почему же клетки сердца должны оставаться неизменными?

Значит, ничего не поделаешь?

Есть один выход: сделать из мужа любовника. Для этого надо сперва развестись (а лучше всего, может быть, вообще не выходить замуж). Я выходила замуж дважды, в мэрии. В первый раз я верила в брак. Верила в необходимость жить с мужчиной, которого любила, и верила, что это надолго. Во второй раз я сделала это из нежности, из сердечной склонности и еще из чувства ответственности перед моим сыном. Я ждала ребенка. Боб был без ума от радости, что будет отцом, а моя мать сокрушалась, что ее дочь может стать матерью-одиночкой.

Это был, возможно, не идеальный брак...

Почему нет? Боба я предпочитала кому бы то ни было. Идеал – это предпочитать каждое утро и каждый вечер человека, с которым живешь. Для этого двоих должно достаточно сильно тянуть друг к другу. Бывают вечера, когда хочется спать, когда любишь только себя, причем себя спящего. В силу привычки вы знаете, что уснете рядом с кем-то, кто ворочается или нет, разговаривает во сне или спит как убитый. Это знание друг друга, это тяготение тела к телу, если угодно, и заставляет вас спать с вашим мужем, хоть вы уже пять лет вместе с ним, а не с Гэри Купером. Боже мой! Бедняга... он же умер... ну, не знаю, с Кирком Дугласом.

Это и есть хороший муж?

В сущности, хороший муж – это хороший любовник, которого знаешь как облупленного. Можно еще сказать, что это хороший любовник, с которым тебя связывают законные узы. Я не вижу существенной разницы между мужем и любовником. Когда женщины не работали, не обеспечивали себя, замуж выходили на всю жизнь. Но теперь муж или постоянный любовник – разницы нет.

Но если надо сделать выбор, что лучше? Хороший муж или хороший любовник?

Будь я цинична, сказала бы, что надо иметь хорошего мужа и любовника. Но я не цинична, поэтому скажу, что надо иметь хорошего мужа-любовника, то есть, я хотела сказать, хорошего друга-забавника^[25], или хорошего любовника-мужа, или,

пожалуй, и то, и другое, и третье!

Надо, однако, подчеркнуть такой факт: женщины, как правило, сохраняют при себе мужа дольше, чем любовника. Наверно потому, что, вопреки общепринятому мнению, любовник более придирчив, более ревнив, более привержен условностям, чем муж. Ты влюбляешься в доброго, нежного мужчину – и обнаруживаешь невыносимого палача. Дело в том, что любовник чувствует себя уязвимее мужа, его положение более шаткое. Хотя бы по самой прозаической причине общего жилья. Муж может повернуться в постели спиной к жене: он у себя дома, ему ничего не грозит, он ложится в постель, чтобы спать, а мужчины очень дорожат своими привычками – как и женщины. Тут, впрочем, кроется опасность: муж, считающий себя женатым на всю жизнь и уверенный в вас, засыпает, пожалуй, слишком быстро... Что ж, надо держать мужа – как, впрочем, и любого мужчину – в неуверенности, ласковой, но все же неуверенности. Думая про себя и искренне веря, что вы умрете вместе...

Мужчины любят свои привычки, но отнюдь не уверенность. Я же слишком люблю счастье, чтобы иметь неосуществимые желания. Я думаю, что быть свободной значит давать себе волю в забавах и эмоциях. Как пишет Фолкнер: «Нет ничего лучше, чем жить в то недолгое время, что нам отпущено, дышать, быть живым и знать это». Ибо поиск счастья – это, быть может, и есть жизнь с постоянно присутствующей мыслью о смерти. Эта мысль, кстати, не самая для меня неприятная – лучший общий знаменатель всех дел человеческих. Без нее, подтачивающей все, люди были бы невыносимы в своих притязаниях. И потом, эта мысль стимулирует.

Вы, похоже, неплохо уживаетесь с мыслью о смерти.

Но смерть – это еще и худшее из всего, что может быть, это кошмар. Мне случается проснуться ночью и сказать себе – вот глупость-то! – сама не знаю почему: «Милая моя, а ведь однажды тебя не станет». О! Кошмар! Никто не может смириться, задумавшись, ночью или в любое другое время, с этим ужасным, каждодневным путем к смерти.

И никто рядом не может сделать его менее ужасным...

Можно разделить немножко. Отдохнуть иногда на чем-то плече...

Помните «Золотую голову»? Когда умирает Селеста... Эти двое бесконечно любят друг друга, однако ясно, что один из них умрет, а другой останется жить. И ничего не поделаешь: они совсем одни. Тот, кто умирает, возненавидел другого и говорит ему: ты ничего для меня не сделал.

Это как Рембо, умирающий в марсельской больнице. Он сказал своей сестре: «Я умру, а ты пойдешь на солнце», – вне себя от ярости.

А вы...

Иногда, лежа в постели, я говорю себе, что умру, что мои близкие тоже умрут, и от этого мне хочется сделать тысячу разных вещей. Часто, когда люди со мной говорят, я вдруг вспоминаю, что они умрут, и тогда слушаю их уже иначе. Я вижу их такими, какие они есть, какие все мы, и мне хочется освободить их от этой вечной комедии, спросить, зачем они так суеются, принимают себя всерьез, к чему этот важный вид. Хочется сказать им, что для них главное; хочется, чтобы они выпили. Я люблю этот неуловимый, эфемерный момент, когда, после нескольких рюмок, люди расслабляются, забываются, освобождаются от всего напускного, наигранного: маски падают, и они наконец-то говорят о настоящем. О метафизике, быть может. Нас постоянно тянет к метафизике.

К Богу?

Бог – это, может быть, и выход, но не для меня. Мориак говорил, что я ближе к благодати, чем иные верующие, – но я вообще очень любила Мориака, у него был необычайно живой ум. Мне нравится, что во мне, в моей жизни есть некая неудовлетворенность, которая вызывает.

Вы никогда не верили в Бога?

Разумеется, я верила в Бога, я же провела юность в монастырях. Потом я начала читать Сартра и Камю, а когда меня привезли в Лурд, это меня добило. Я отреклась от Бога лет в тринадцать-четырнадцать, с категоричностью, свойственной этому возрасту.

И потом вам никогда не хотелось вернуться к Богу?

Вера иной раз чертовски упрощает жизнь, а порой она же ее усложняет. Я ничего не имею против христиан, все, в ком живет некая страсть, достойны уважения, но я сегодня на самом деле атеистка. Я скорее соглашусь с Фолкнером, что «праздность порождает все наши добродетели, наши самые приемлемые качества: созерцательность, спокойствие, лень, ненавязчивость, хорошее пищеварение, как физическое, так и духовное...»

Любопытно, по легенде, ваш мир – большие города, ночь, алкоголь и т. д., а вы рассуждаете о счастье, о времени, как могут рассуждать те, кто живет ближе к природе, в деревне. Где же ваши корни?

Я обожаю деревню, я там выросла, жила до пятнадцати лет и часто туда возвращаюсь. Я люблю воздух, он мне необходим, люблю траву, люблю ездить верхом, гулять километрами, никого не видя, люблю реки, запах земли. Я оттуда, от земли.

Где вы предпочитаете жить?

Я всю жизнь мечтала иметь собственный дом в деревне, чтобы в нем было много комнат, больших комнат... иметь пристанище, свой порт, где можно бросить якорь. Я не боюсь умереть, но стоит мне подхватить насморк, я пугаюсь... И я люблю только старые дома.

У вас есть такой дом в Нормандии.

Дом в Экемовиле – единственное, что мне удалось сохранить. Все утекает у меня сквозь пальцы, выскальзывает из рук. Этот дом я купила как-то сдуру, да так он у меня и остался. Ветхий, продуваемый ветром, но красивый, приятный, уединенный. Это дом XIX века, длинный, просторный, в нем много комнат. Раньше он принадлежал Люсьену Гитри^[26], он о нем пишет; Альфонс Алле^[27] тоже упоминает о нем в своих книгах. И потом, у меня прекрасные отношения с животными. Всегда у меня были собаки, кошки. Ах! Эти собаки, с ними никогда не получается погреться у камина, они занимают лучшие места. А однажды вечером мы

были с друзьями в ночном клубе на Монпарнасе, и помню, там был номер с дрессированными собачками. Юки (пес неизвестной породы, выбранный в приюте Общества защиты животных, которого я любила и потеряла), допущенный в заведение по особой протекции, до тех пор мирно спал, положив голову мне на колени. И тут он, вдруг проснувшись, вспрыгнул на сцену и стал гоняться за своими учеными коллегами. Это было изумительно.

Только собаки и кошки?

Однажды, уже давно, мне подарили коня: Пинпина. Он грустил. Для компании я купила ослика. Но вот Пинпин умер, и тут уже захандрил ослик. Я купила другую лошадь, которая, в свою очередь, после смерти ослика смертельно заскучала. Я купила другого ослика... Сегодня эта парочка неразлучна, как Лорел и Харди^[28].

Чтобы завершить перечень ваших вкусов, надо теперь поговорить немного о музыке, о живописи...

Я очень люблю музыку. Я из тех людей, у которых слух развит лучше зрения. Мне в жизни нужен звуковой фон, и какое это прекрасное изобретение – проигрыватель. Музыка доступна в любое время, можно наслаждаться ею весь день. А вот чтобы наслаждаться живописью, надо посещать музеи, куда-то идти, смешиваться с толпой, прятаться от зрителя, закулив сигарету... тут моя лень пересиливает. И потом, у меня в голове есть свой воображаемый музей, воображаемые краски. Когда пишу, я создаю собственные картины. Но как, спрашивается, создать у себя в голове музыку? Симфонии у себя в голове, ложась вечером спать, я не слышу. Зато закрывая глаза, даже чуть прищурившись, вижу солнышки.

Какую музыку вы предпочитаете?

Моя страсть – Моцарт, и есть еще эпизодические страсти: Брукнер, Малер, опера. Когда я слушала «Травиату» в Нью-Йорке, во мне как будто что-то щелкнуло. Кстати, у меня есть картина, которая так и называется: «Вечер в опере», смешная такая. Она не представляет никакой ценности, как, впрочем, и все мои картины. Есть еще одна, я очень ее люблю, на ней изображен голландский обед. Но у сотрапезников такие глаза... они точно сумасшедшие. Ну совершенно «зинзин»^[29]. Я заказала медную табличку, как в музеях, с надписью: «Обед у Ван Зин-Зинов». И нашлись люди, которые, увидев ее, многозначительно говорили мне: «О, у вас есть Ван Зин-Зин!» Веселая история, правда?

Да. Вы очень интересно говорите о веселье. Очень сдержанно, по вашему обыкновению. И коль скоро зашла речь о сдержанности, мне кажется, вы редко говорите о том, что для вас важно: о вашем сыне. Ведь у вас есть сын.

Я знаю, что значит быть деревом, давшим новый побег: иметь ребенка.

Вы хотели ребенка?

Я мечтала о ребенке. Мы воплощаем свои мечты в образах: мне виделся пляж, я – на этом пляже и рядом – маленький мальчик. Такая лубочная картинка в голове. Я, плюс мужчина, плюс ребенок.

А потом, в жизни, это было так?

Когда он родился и его положили мне на руки, в первую минуту произошел чисто физиологический феномен, хорошо знакомый врачам, который неспособны понять мужчины. На меня накатила необычайная эйфория. Думаю, она объяснялась скорее разрешением от бремени, чем присутствием ребенка, но целый час я была очень счастлива. Потом я уснула, а после этого две недели была в глубокой депрессии. Это врачи тоже объясняют, дело в физической усталости, ничего психологического. Все женщины через это проходят.

Причины хотеть ребенка у всех разные. Какие были у вас?

Хотеть ребенка – это очень древний, первобытный, дикий инстинкт: нам хочется видеть свое продолжение.

Вы готовы утверждать, что все женщины должны иметь детей?

Я думаю, что, хотя ребенок – это очень важно, женщина остается женщиной, даже если у нее нет детей. Она женщина, если кого-то любит. Есть и такие, что прекрасно живут в одиночестве, сидят со старым котом на коленях и едят лапшу. Эгоистичная старуха со старым котом, привязанным к ней множеством привычек, – тоже женщина, имеющая детей в своем воображении.

Материнская жилка либо есть, либо ее нет. Как по-вашему, у вас она есть?

Если материнская жилка состоит в том, чтобы любить своего ребенка, у меня она есть. Если же она состоит в том, чтобы сделать его принадлежащей вам вещью, то у меня ее нет.

Какая вы мать?

Меня трясет, если он болен, я часто думаю о нем. Я радуюсь, когда он со мной, скучаю по нему, когда его нет, но я не так называемая мать-наседка. Ребенок изменил мою жизнь – теперь приходится обращать внимание на некоторые вещи, которые прежде были мне безразличны. Когда я лечу самолетом, думаю о возможной аварии, боюсь... Но самое главное – с Дени у меня впервые возникло чувство, что я перед кем-то, имеющим право меня судить. И это удивительно – вот так вдруг обнаружить, что в вашей жизни есть глаза, которые смотрят на вас именно так, как

вам хочется, чтобы на вас смотрели. Когда Дени смотрит на меня, я вижу в его взгляде внимание, ожидание и симпатию. И под этим взглядом я чувствую, что больше не вольна умереть: слишком многое я должна помочь ему понять, начиная с самой себя.

И от этого вы счастливы...

В результате всего этого, как ни парадоксально, я, сознавая свою ответственность, одновременно чувствую себя счастливее. Веселее, беззаботнее. Могу сказать, что до рождения Дени я много переживала из-за пустяков. Теперь, когда он есть, у меня одна забота, очень серьезная, и это все упрощает.

Как вы его воспитываете?

Ребенок должен иметь надежные ориентиры: свою комнату, свои игрушки, свою школу, людей, с которыми он живет, товарищей, с которыми играет. Он не должен быть свидетелем личной жизни родителей, в данном случае моей. Время от времени надо слегка стукнуть его по пальцам, оттаскать за уши, если у него плохие отметки... Но самое главное – надо его любить, чтобы он все время чувствовал тепло. Тепло и порядок.

Ваша слава не создает проблем?

Если говорить обо мне, я ни в коем случае не хочу, чтобы в газетах появлялось его фото у моей юбки. У него есть чувство собственного достоинства – почему он должен терять его из-за меня? Мой сын не будет сыном знаменитости.

Это самая дорогая для вас любовь, она заменяет вам все?

Любовь ребенка – самое дорогое, что есть в моей жизни, но со мной может случиться всякое, и сын не мешает мне быть глубоко несчастной. Если я полюблю кого-нибудь без взаимности, если умрет кто-то из моих друзей, присутствия сына будет недостаточно, чтобы я не плакала. Надо быть чудовищем, чтобы ограничиться одной лишь материнской любовью, а я не чудовище. Он не мешает мне быть открытой остальному миру.

А он мешает вам побыть одной?

После автомобильной аварии я знаю, что мы безнадежно одни. Когда нам очень больно, мы всегда одни. Люди, которые больше всех нас любят, ничем не могут нам помочь. Эта авария также научила меня быть осторожнее, беречь здоровье, помнить, что мы во власти физической механики. Вот такие простые и где-то даже глупые вещи. Дени не может помешать мне иногда побыть одной, как и я не могу ему в этом помешать. Но мы сделаем все друг для друга и будем осторожны.

Вот, кстати, а всегда ли вы были осторожны после аварии? Вы всегда говорите так, будто ничего не произошло, однако совсем недавно в некоторых газетах можно было прочесть о вас не самые радостные новости. Вы были в клинике, будто бы в тяжелой

депрессии. Что случилось?

Да, был кризис, как будто вместо того, чтобы промахнуть одну ступеньку, я промахнула две. Я зашла слишком далеко во многих областях. Пришлось выкарабкиваться – в одиночку, снова в одиночку, но мне очень помогли. Теперь я снова начинаю видеть, слушать. Переход через пустыню окончен. Я снова здесь. И пью воду.

Почему воду?

Потому что алкоголь для меня пока под запретом. Скучно, но уже не так, как поначалу. Пройдет время, и я буду смотреть на вещи позитивнее.

Франсуаза Саган, у вас есть секреты?

У меня нет секретов. Я думаю, что понять писателя можно, узнав его печали, а не секреты. Секрет – это то, что сознательно скрывают, в то время как печаль не скроешь, ибо книга – ее отражение.

Как бы то ни было, у вас в конечном счете очень логичная система ценностей.

Мои табу просты: уважать людей, любить людей, не причинять людям боли. И я страстно люблю литературу, музыку, детей, людей, природу, животных. Вот и все.

Мы мало-помалу уходим очень далеко от легенды, о которой у нас шла речь. И такая Франсуаза Саган станет для многих открытием. Скажите в заключение, после сорока лет, десяти романов, восьми пьес и сына, случается ли вам говорить себе: «Я еще ничего не сделала, все впереди»?

О да!

Что же остается? С годами вы больше приобрели или утратили?

Думаю, все-таки кое-что приобрела. Во всяком случае, эти годы.

И ничего не утратили?

Да, я утратила быстроту некоторых рефлексов юности, приобрела несколько морщин, а значит, утратила те места на моем теле, где их не было. Нельзя приобрести, ничего при этом не утратив.

Как вы думаете, вы теперь лучший писатель, чем в двадцать лет?

В области писательства с годами обретаешь знание предела своих возможностей, обретаешь известную гибкость. Уже не так нервничаешь, когда дело не идет. Может быть, чуть больше уверена, что сможешь продолжать. Предел возможностей – это значит, например, что ты не Пруст и не Достоевский. Зная предел своих возможностей, не станешь играть словами, пытаться

впечатлитель малопонятными фразами, туманными теориями. Не будешь морочить, обманывать и обманываться.

Что, по-вашему, остается после чтения ваших книг?

Я думаю, если найдется пять-шесть человек, которые читают мои книги и испытывают некое облегчение, узнавая голос, приносящий более или менее умиротворяющее, доброе или лирическое решение их проблем, то пишу я не зря.

В сущности, вы моралистка.

Мы всегда в какой-то момент становимся моралистами – чтобы притормозить или чтобы ускорить. Нам кажется, будто жизнь идет медленнее или, наоборот, мчится так, что ничего уже не удержать. Вот тогда-то и становятся моралистами... Впрочем, у меня всегда была определенная склонность к объяснениям тоски, страха, одиночества.

Последняя фраза, пожелание?

Хочу, чтобы мне было десять лет; не хочу быть взрослой. Вот.

В силу легенды, мифа Саган, не обречены ли вы походить на то, что видит в вас публика, – звезду романа?

В «звезде романа» есть что-то уничижительное. Это одновременно наивнее и здоровее. Для публики я типичный писатель: день прошел – и слава богу, в голове ветер, швыряюсь деньгами, живу жизнью своих персонажей. Это соответствует мифу, который был правдой во времена Мюссе или в эпоху Фицджеральда, но с тех пор исчез, однако я считаю себя его порождением, чем немало горжусь.

А вы чувствуете, что соответствуете вашей легенде?

Прежде всего, живой человек – не легенда. Легенда состоит из грубых штампов. Это легенда соответствует самым заметным вашим чертам. Она делает из вас некое странное существо, возведенное на пьедестал... Дело в том, что в пору «Здравствуй, грусть» мне было восемнадцать лет, а девушки в этом возрасте тогда не пользовались особой свободой. Так получилось, что я стала свободной благодаря моей книге.

Свобода, которую вы проповедовали и которой наслаждались, – была ли это привилегия?

Да, я была в привилегированном положении. Была и осталась. Мне повезло иметь средства на мою свободу. Быть свободной значит располагать временем и пространством, а это стоит дорого.

А уж когда занимаешься делом, которое любишь, и ведешь жизнь, какую хочешь, – это такое привилегированное положение... Если взять десять человек на этой планете, мы окажемся теми, кому повезло; остальные, скажем восемь из десяти, живут ужасной жизнью и зачастую умирают страшной

смертью.

Вы довольны своей жизнью?

Да, как правило. Едва я начала читать, мне захотелось писать. Мне, как всем в десять-двенадцать лет, хотелось быть гениальной и прославиться, что одновременно инфантильно и естественно. Слава виделась мне, как огромное круглое солнце над нами... Я очень скоро поняла, что слава – это не круглое солнце, а клочки бумаги, на которых написаны более или менее приятные вещи. Слава – это не только розы и триумфальные арки. Я пряталась от нее, не хотела о ней думать, я умыла руки, не искала ее и не избегала. Но так вышло, что публике понравилась моя литература. И я жила литературой, мне не приходилось зарабатывать на жизнь другим ремеслом или плясать под дудку кого-то, кто бы меня содержал.

Я была менее свободна, когда в кого-то влюблялась, к кому-то привязывалась или привязывали меня. Но все время быть влюбленной невозможно, и слава богу. А в остальном, несмотря на любовь и болезнь – и того, и другого я получила сполна, – я была счастлива. Если не считать нескольких страстей без взаимности, нескольких автомобильных аварий и физических недомоганий, до сих пор я знала в жизни только лучшее. И я свободна.

Не думаете ли вы, что слава пришла к вам слишком рано?

Нет! Успех хорош тем, что потом о нем не приходится больше думать. Гора с плеч. Так что чем раньше, тем лучше!

Известность не мешает вам жить?

Нет. Теперь уже нет. Или очень редко.

Она вас забавляет?

Не особенно.

Что вы думаете о вашем сложившемся образе?

Мой образ, сложившийся за долгие годы, не вполне тот, какого мне хотелось бы, но, в конечном счете, он симпатичнее многих. Согласитесь, виски, «Феррари», игра – картинка повеселее, чем вязанье, дом, экономия... Как бы то ни было, такой образ мне вряд ли удалось бы навязать публике.

Что значат для вас деньги?

Ответить трудно, потому что я никогда в них не нуждалась. «Здравствуй, грусть» вышла, когда мне было восемнадцать лет: золотой дождь пролился на меня в девятнадцать. Было бы неприлично сказать, что деньги ничего не значат, это вещь необходимая и удобная, они дают свободу, возможность побыть одной. Нехватка денег ужасна хотя бы тем, что предполагает вечную тесноту. Пять человек ютятся в одной комнате, пятьдесят

набиваются в вагон метро, сорок сидят в одном кабинете, нигде невозможно остаться одному! А ведь эта возможность – один из ключей к счастью.

Я всегда считала, что деньги – хороший слуга и плохой господин. Средство, а не цель. Однако многие люди позволяют им быть господином. Почему? Потому что им с ними спокойнее. Дидро сказал: «Золото дает все. Золото, дающее все, стало богом нации». Он написал эти слова в век Просвещения, а наш атомный век повторяет их все грубее с каждым поколением.

Когда я была маленькой, за столом не позволялось говорить ни о деньгах, ни об имуществе, ни о здоровье, ни о нравах. Сейчас я не припомню ни одного обеда, где говорили бы о чем-то другом.

Вы заимствуете один из ваших лейтмотивов у Фицджеральда: «Богатые не похожи на нас с вами». Вы действительно так думаете?

Хемингуэй ему ответил: «Да, у них денег больше». Беда в том, что богатые думают, как Хемингуэй. Им кажется, что люди видят только их деньги, и поэтому деньги становятся святыней. В них – разница, а всякая разница ощущается, хорошо ли, плохо ли. Богатые молятся им, они – их бог. Правоверные – те, у кого есть деньги, а те, у кого их нет, – язычники. Есть в этом преклонении и что-то сексуальное. Деньги – табу, они неприкосновенны.

Вас обвиняли в мотовстве, это правда?

Я зарабатывала деньги и тратила их не считая – или считая слишком поздно. Деньги никогда не доставались мне за чужой счет, и тратила я их всегда не одна. Виноватой я себя ни в чем не чувствую. Деньги оказывают услуги, они созданы, чтобы их тратить, если вам повезло их иметь. Человек, у которого есть деньги, если это нормальный человек, ну, скажем, нормальный в моем понимании, делится ими с теми, кто в них нуждается. Всегда встретишь людей, нуждающихся в деньгах.

Вам случалось отказывать в деньгах?

Когда их было недостаточно, пришлось научиться говорить «нет». Ни у кого не может быть столько денег, чтобы всем говорить «да», но это тяжело.

А вы часто говорили «да»?

Если бы мне вернули все деньги, которые утекли у меня сквозь пальцы на разные разности, я могла бы жить припеваючи довольно долго. Одним из первых моих должников был драматург Артюр Адамов^[30]. Он уже тогда сидел на мели и перебивался кое-как. Он попросил денег, я дала ему чек. Он сказал: «Долг я вам никогда не верну, но держать на вас зла не буду». Я обалдела. Потом он всегда был со мной приветлив и улыбчив. И в дальнейшем я поняла, что очень мало найдется

людей, столь великодушных, чтобы простить вам, что они у вас в долгу.

Вы не очень любите собственников...

Я не думаю, что можно стать очень богатым и остаться им, не очерствев сердцем. Все богачи, которых я знала, наверняка не раз отказывались дать или одолжить. Богатство – это умение говорить «нет». Поэтому богачи – боюсь, люди сомнительные. Меня раздражают жалобы на высокие налоги: если ты должен много денег налоговой инспекции, значит, и зарабатываешь много. Бедные не жалуются на налоги, платят они меньше, а жаловаться им некогда.

Кстати о деньгах, мне бы хотелось упомянуть чудовищный снобизм критиков, которые говорят мне: «Вы описываете людей, у которых есть деньги, они неинтересны среднему классу, народу». То есть народу в их понимании. Однако письма, которые я получаю, доказывают обратное. Можно подумать, что люди простые, неимущие имеют право только на самые примитивные ощущения: холод, голод, жажду, желание спать и необходимость работать, а такие чувства, как скука, насмешка, абсурд, по разумению этих господ, доступны лишь избранным. Поразительный снобизм!

Почему вы любите играть?

Что меня привлекает в игре – ее участники не злюки и не жмоты, а деньгам возвращена их первоначальная функция: они циркулируют, лишённые своей культовой стороны, сакральности, которой их обычно окружают.

Когда вы начали играть?

Я впервые вошла в казино в день, когда мне исполнился двадцать один год: я наконец-то стала совершеннолетней, имела право. Нетрудно догадаться, что облизывалась я давно. Там был большой стол, за которым играли в шмен-де-фер, и я курсировала между ним и рулеткой. Это и стали две мои игры. Но чтобы играть в шмен-де-фер, нужно иметь при себе довольно большую сумму. За рулеткой можно продержаться час с гораздо меньшим количеством денег. И выигрывать в рулетку деньги, которые поставишь в шмен-де-фер.

А в покер вы играете?

Очень редко. Для меня покер – мужская игра. Я не знаю женщин, хорошо играющих в покер. Надо желать смерти партнера, а это чувство мне незнакомо.

Когда мне случается играть с друзьями, в основном в джин-рамми, мы ставим фасолины и проигрываем максимум сотню франков. Это не игра. В настоящую игру играют против удачи, против незнакомцев, на большом зеленом сукне, в атмосфере

казино.

Что забавно в шмен-де-фер – это токи, пробегающие вокруг стола. Одни незнакомцы кажутся вам друзьями, другие, наоборот, неприятны, и вы играете заодно с некоторыми игроками против других.

И еще я обожаю игру за возвращения домой на рассвете.

Даже когда проиграли...

Даже когда проиграла. Но уж когда выиграла, мне хочется разбудить весь свет, чтобы объявить о своем триумфе.

Как в то утро тридцать с лишним лет назад, когда вы купили ваш дом в Нормандии?

Это было 8 августа. Я поставила в рулетку на 8 и выиграла восемь миллионов. В то утро я должна была покинуть дом, который сняла на каникулы, и предстояло составить бесконечную опись имущества в этой огромной ветхой халупе. Хозяин, хмурый и неприветливый, ждал у двери со списком в руке. Когда он сказал, что хочет продать этот дом, и недорого, всего за восемь миллионов, я особенно не раздумывала. А ведь обычно у меня не бывает при себе денег, я вечная съемщица. Да и хозяин был со странностями: в большом зале на первом этаже он настелил квадрат паркета и вечерами танцевал под звуки граммофона в одиночестве, а его жена лежала, парализованная, на втором этаже. Все остальное время он бегал за местными пастушками.

По легенде вы проигрывали целые состояния, это правда?

Это легенда. Директора казино, особенно в Довиле, очень порадовались бы, будь это правдой. Не надо считать, что игра была для меня дурной компанией. Как друзья всегда были мне настоящими друзьями, так же и случай был всегда моим верным спутником. Постучу по дереву, но в игре я чаще выигрываю. Люди осуждают игру, выигранные деньги, в силу абсурдной морали, потому что все деньги, которые не были заработаны, для них деньги нечестные. За исключением наследства: давно сколоченные состояния, разумеется, честны.

В легенде Саган есть еще и машины: «Водить босиком, чтобы ощутить слияние с механизмом», так ведь?

А! Человек, пустивший в оборот эту пагубную фразу, раскололся: это журналист Пьер Джанноли. Он сам мне сказал: «Эту фразу придумал я». Я ему ответила: «Браво! Годы бессмертия за эту находку, которая теперь меня преследует!» На самом деле, как все на каникулах, я водила босиком от пляжа до виллы, чтобы песок не набился в туфли. Я никогда не помышляла о слиянии с чем бы то ни было, с неодушевленным предметом, я имею в виду.

Давно у вас эта страсть?

Любовь к автомобилям у меня с детства. Помню, как я,

восьмилетняя, сидя на коленях у отца, «веду машину», крепко держа обеими руками огромный черный руль. С тех пор я люблю машину за то, что она есть, и за удовольствие, которое она мне доставляет. Я люблю ее потрогать, сесть в нее, вдохнуть... Это почти как лошадь, которая понимает ваши желания, откликается на них. Между нею и вами рождается взаимопонимание, общность чувств. Один дает свою силу, мощь, скорость. Другой взамен дарит ему свою ловкость, свое внимание.

Что привлекает вас в скорости?

Есть такая теория, дескать, любящий скорость склонен флиртовать со смертью! Кто любит жизнь, тяготеет к смерти, ее противоположности. Страсть к скорости – это полет, ставка на игорном столе жизни. Как в любовной страсти, когда человек весь целиком захвачен своим чувством.

В легенде Саган есть еще и наркотики...

Говорят, что я принимаю наркотики, потому что пить бросила – ну, почти, – и в казино меня больше не видят. Надо же что-то говорить...

Было все же зерно истины в мифе Саган...

Разумеется. Я любила быструю езду, виски, ночную жизнь. И наркотики пробовала.

Почему вы любите ночь?

Потому что ночью я чувствую, что у меня есть время, и у других оно тоже есть. Люди, которых встречаешь ночью, не спешат на деловое свидание через десять минут, они свободны. И им хочется выговориться, солгать вам или сказать правду, завязать отношения просто так.

Как вы сами объясняете феномен Саган?

Речь идет прежде всего о социологическом феномене. Написанная история, в которой тело рассматривается как естественный элемент нашего общества, как ни странно, вызвала скандал. Меня это тогда очень удивило: ведь в моем замысле не было ничего порочного. «Здравствуй, грусть» дала толчок, это был эффект снежного кома. Люди были шокированы. Сегодня их уже ничем не шокировать, все ниточки провокации давно перетерлись.

Миф Саган принадлежит одному поколению и отсылает к определенным образам: пляж в Сен-Тропе, джаз-бары в Нью-Йорке, «Ягуары», компании, свое понятие о свободе. Вы находите, что новые поколения отличаются от вас тогдашних?

Во-первых, я не люблю слова «поколение». Говорить можно в конечном счете только о личных историях. Всегда были и будут люди, осененные благодатью, робкие влюбленные под балконом. Однако мне кажется, что мы больше, чем нынешняя молодежь,

хотели быть непохожими. На наших родителей, на всех. И наши кумиры были старше нас, будь то Сартр или Билли Холидей^[31]. Нам хотелось ими восхищаться, а не отождествлять себя с ними.

Сплетни на ваш счет не раздражают?

Сегодня я равнодушна к тому, что задевало меня за живое двадцать-тридцать лет назад: систематической и карикатурной эксплуатации моей личной жизни, какой она виделась людям. В пору моих первых книг газеты перемывали мне косточки и приписывали всевозможные глупости: как я ни старалась отвечать в интервью только «да» и «нет», то и дело находила под своим именем фразы, которых никогда не произносила. Меня даже подозревали в том, что я подписываю романы, сочиненные за меня членами моей семьи, – судите сами!

Обычно я стараюсь не читать досужих сплетен, которыми еще время от времени пробавляется желтая пресса, но, когда это необходимо, реагирую через моего адвоката. Короче говоря, если люди принимают за чистую монету бредовые статьи, изображающие меня женщиной, окруженной головорезами и наркоторговцами, которая прожигает жизнь в казино от Довиля до Монте-Карло, встречает Рождество с Мадам Клод^[32] и подрывает бюджет государства, заболев в Боготе, и если эти самые люди изменяют из-за этого свое отношение ко мне, напрашивается естественный вывод, что они хотят видеть во мне отнюдь не то, что я есть на самом деле. А посему пусть не уважают, мне это безразлично. Это относится и к тем, кто путает мои книги с моей политической поддержкой Франсуа Миттерана.

Как вы смотрите на «литературный феномен» Саган?

Пресса писала о феномене, люди говорили о феномене. Я писатель, чьи книги читают. В этом нет ничего феноменального. Высокопарный романтик назовет это судьбой; практичный циник – карьерой; для тех, кому не нравятся мои книги, – это случайность, ну а для тех, кому они нравятся, – достижение, если смотреть с точки зрения успеха...

«...Жизнь и творчество на скорую руку одинаково приятные» – так вы сами определили свой путь в «Словаре писателей» Жерома Гарсена. Это провокация?

Нет, это не провокация. Я в самом деле написала немало книг на скорую руку. Хотя мне случалось одиннадцать раз переписывать первые пятьдесят страниц романа.

Почему вы пишете?

Я пишу просто потому, что мне это нравится! Это и порок, и добродетель, это непостижимо, к тому же добродетель, становящаяся вдобавок удовольствием. Писать – очень интимное занятие. Не люблю людей, которые постоянно говорят о том, что

делают, это меня бесит, я не хочу быть такой же. Я избегаю разговоров о моих отношениях с писательством. Как бы то ни было, по-моему, нельзя придумать то, чего не знаешь. А формулируя то, что знаешь, вдруг обнаруживаешь в себе такое, о чем и не подозревал. Означает ли это некие отношения со смертью и потомками? Не думаю. Это, пожалуй, верно для мужчины. Но не для женщины, во всяком случае, не для меня. Может быть, появление ребенка освобождает нас от бессмертия. Это становится второстепенной темой. Ребенок – это как если дерево дает новый побег. Мы живем, мы умираем... мы пишем.

У вас существует собственный метод работы?

В вашем вопросе есть что-то парадоксальное. Писать значит забываться. Как, по-вашему, описать без известного произвола процесс, успех которого как раз и требует, чтобы вы избегали думать о себе?

Книга – это немного романтично, немного мелодраматично, она пишется молоком, кровью, нервами, ностальгией – короче, человеческим существом! Так что метод для писателя – это не что иное, как умение отсечь себя от времени и внешнего мира.

Представьте себе, что за вами гонится толпа индейцев. Вашей единственной мыслью будет спрятаться как можно скорее за первым попавшимся деревом. Метод работы для писателя выбирается таким же образом. Это вопрос убежища, тактического отхода. И уж никак не двигатель творчества.

Иногда вы не пишете. Почему?

Между двумя книгами я не прикасаюсь к карандашу и бумаге. Не пишу, потому что я очень ленива. Обожаю ничего не делать. Лежать на кровати и смотреть на плывущие облака, как сказал Бодлер, или читать детективы, или гулять, видаться с друзьями... В какой-то момент в голове начинают вертеться сюжеты, приходят еще смутные мысли, видятся расплывчатые силуэты. Это меня нервирует. Потом, рано или поздно, проявляется давление извне... Нужда в деньгах, налоги... Все это вынуждает меня перейти к действию. Вот, кстати, почему образ жизни, который мне часто ставили в вину, привычка тратить деньги не считая, швырять их на ветер, меня в каком-то смысле спасли. Будь я обеспечена деньгами до конца моих дней, один бог знает, чем бы это кончилось.

Вертящиеся в голове идеи, давление извне – все это вместе взятое наваливается на меня глыбой, противостоять которой я могу, лишь взявшись за перо. Как правило, внешняя необходимость и внутренние желания практически совпадают по времени. Но если влияние извне опережает внутреннюю потребность – тогда я рву на себе волосы, думаю: все, я пропащий

человек, нет больше вдохновения, дар небес меня покинул. С каждым разом это бывает все хуже. Я убеждена, что все кончено. А потом – пишу.

Что побудило вас писать?

Думаю, природа. Я люблю деревню, я там родилась, провела все детство, жила во время войны. Мне там очень хорошо. Когда я пишу об этом в моих книгах, Бернар Франк всегда говорит мне – это его фирменная фишка: «Описывая деревню, ты пишешь: “Осень была рыжей”». Он от этого рыдает.

Трудно ли писать?

Поначалу это очень тяжело физически. Писатель – бедное животное, запертое в клетке с самим собой. Это может быть даже унижительно. Бывает, работаешь всю ночь, а утром говоришь себе: «Не то». Поначалу я часто рву черновики.

Этот трудный момент приходится пережить всегда. Когда история только складывается и я не знаю, как к ней подступиться. Это работа лесоруба, ремесленника. Кладешь камни, пытаешься скрепить их цементом, и вдруг – бабах! – все рушится. Персонажей нет, их не видишь, они еще не определились. Ты не знаешь, как вдохнуть в них жизнь, ждешь, пока сами обрисуются. Как они выглядят, что с ними будет – пока загадка, видишь разве что отдельные жесты.

А потом начинает что-то вытанцовываться, и готово дело – они живут. Остается только следовать за ними. Когда персонажам в моей голове становится по-настоящему тесно, я и начинаю писать. И пишу очень легко, больше не останавливаясь. Когда дело идет – это чудесно. Бывают поистине благословенные моменты. Да, иной раз чувствуешь себя царицей слов. Это что-то необыкновенное, это рай. Когда веришь в то, что пишешь, это становится неопишуемым наслаждением. Ты – царица мира.

У меня бывает порой животное желание ловить слова. Когда некоторые слова приходят мне в голову, я думаю, у скульптора при виде глины возникает то же желание. Но обсуждать это... Это как если бы вы спросили меня, предпочитаю ли я заниматься любовью без свидетелей или прилюдно. Смотрите, читайте, но только уже без меня. Это наслаждение формой, а не сутью.

Я думаю, что у писателей, которых называют ангажированными, преобладает скорее суть, «послание». Пруст говорил, что книга, содержащая «послание», – как подарок, с которого не сорвали ярлык. Поначалу это порыв, чувственный, эстетический, это как будто у вас связь с кем-то очень обольстительным и непокорным, и он вас ждет. Каждое объятие может обернуться экстазом, а может – фиаско. Осчастливит он вас или уничтожит – как знать? Иногда у вас хватает духу пойти ему

навстречу, а порой вы колеблетесь. Это колебание называют ленью писателя – на самом же деле это страх. Писателям, у которых нет этого ощущения небезопасного любовного свидания, должно быть, очень тоскливо писать, а уж когда любовное свидание превращается в свидание деловое, даже если читатель этого не заметит, ужасно. Даже – и особенно – если они уверены, что все удалось. Единственный кошмар писателя – не слышать больше живущих в нем голосов. Даже слова, эти верные союзники, подданные, солдаты, могут оказаться мятежной и непокорной ордой. Так что приходится порой, чтобы помириться со своими войсками, приняться за длинную бредовую поэму, которая не всегда имеет конец.

Бывает ли, что, когда вы пишете, у вас опускаются руки?

Да, но мне хочется продолжать, и я продолжаю. Больше ведь все равно ничего особо не умею. Да и не смогла бы, наверно, заниматься ничем другим. Не представляю, как бы я жила, если бы не писала.

В конечном счете вы счастливы, что выбрали эту стезю?

Да. Хотя профессия писателя одновременно чудесная и до ужаса неблагоприятная. Возьмите скульптора, художника, музыканта: когда они творят, их произведение – вот оно, перед ними. В красках, в звуках, в формах. Ах! Какое наслаждение услышать музыку, которую только что написал... Это, должно быть, изумительно. Скульптор может иметь со своим творением чувственный, физический, непосредственный контакт. А вот когда выходит книга, писатель видит перед собой только знаки на белой бумаге. И ему страшно, ведь без читателя эти знаки не имеют никакого смысла. А читатель – никогда не знаешь, как онотреагирует.

Однажды я ехала в автобусе рядом с женщиной, читавшей мою книгу, и вдруг она начала зевать. Ей явно было скучно – и я сбежала. Выскочила из автобуса на четвертой скорости и шла домой пешком, четыре остановки!

Стараетесь ли вы угодить читателю?

Нет, я не стараюсь угодить. Канва моих романов вполне классическая: начало, конец, история, люди. В этом я отличаюсь от большинства течений современной литературы. Моему роману необходима интрига. Писать надо инстинктивно, как живешь, как дышишь, не стремясь к смелости и «новизне» любой ценой.

Почему вы часто пишете короткие вещи?

Потому что сказала все, что должна была сказать, покончила с моими героями. Однако сама я предпочитаю роман. Создается как бы семья, с которой ты живешь два-три года. Роман – это долгое путешествие со многими людьми, к которым за время пути

успеваешь привязаться. Новелла – это очень-очень короткий путь. Но если бы мне удавалось писать хорошие стихи, я бы ничего другого не делала. Увы, мои стихи недостаточно хороши. Всю жизнь я пишу стихи, а потом выбрасываю их или теряю. Я вообще люблю терять.

Когда вы пишете, книга следует за вами на улицу?

Да, все чаще, и я на полгода становлюсь занудой. Со мной скучно, потому что я постоянно думаю о ней, как об отложенной на завтра проблеме; то же самое – когда я ликую, потому что хорошо поработала. Когда пишешь с радостью, есть в тебе этакая нотка превосходства, которая наверняка раздражает окружающих. Поэтому есть смысл писать быстро, чтобы не слишком долго быть раздражителем.

Когда вы пишете?

Ночью, потому что только в ночное время могу поработать спокойно, без телефона, без заходящих то и дело людей, друзей моего сына... в общем, без помех. Работать в Париже ночью все равно что побыть за городом. Мечта! Я работаю с полуночи до шести утра.

Вы пишете всегда в Париже?

Нет. За городом я работаю после обеда. Что хорошо за городом – можно, встав из-за стола, выйти прогуляться, посмотреть на зелень, на погоду. А потом, около четырех, сказать всем: «Мне надо работать». Все стонут, сетуют, разыгрывают целую комедию. И вот что еще прелестно: когда хорошо поладишь с пером или пишущей машинкой, забываешь час ужина.

Это не значит, что за городом мне лучше пишется. Вообще-то я могу работать где угодно: на скамейке, под деревом, в дороге. Вот только в кафе мне трудно сосредоточиться. Не из-за шумового фона, а из-за людей: вот кто меня отвлекает больше всех на свете.

Разве наблюдение не может стать стимулом к творчеству?

Вы действительно думаете, что наблюдение так важно для писателя? Мне скорее кажется, что он находит материал в своей памяти или в своих наваждениях. Воображение – моя преобладающая добродетель.

Когда у меня в голове созревает история, я чувствую себя подобно беременной женщине. Она не думает постоянно о своем положении, но время от времени ребенок толкает ножкой, напоминая о своем существовании. Это может случиться во время скучного обеда – я избегаю их, как могу, но иногда отвернуться не удастся. А бывает среди ночи. Я зажигаю свет, всюду ищу карандаш, записываю мысль на клочке бумаги, а на завтра не могу его найти. Я много записываю, но все это чистый вымысел. Могу

вас заверить: ни один из моих персонажей не имеет реального прототипа. Скорее наоборот, мои вымышленные персонажи порой осложняют мне отношения с реальными людьми.

Вы работаете ежедневно?

Да, когда книга «пойдет». Начинать мне всегда трудно, я топчусь на месте. А потом, когда разгонюсь, уже не могу остановиться. Помню, в одно лето я работала практически непрерывно. Долго не было дождей, и в тот самый момент, когда я поставила точку, над Парижем разразилась гроза. Все так ждали этого дождя, что я подумала: надо было мне закончить роман пораньше.

Вы много работаете над вашим французским?

Не так чтобы. Я много читала, слова приходят легко. А если что, у меня есть отличная штука – словарь синонимов Tchou. Я очень его люблю. В трудных случаях обращаюсь к Tchou.

Случается ли вам подвергать себя самоцензуре?

Нет, не думаю. Цензура существует для тех, кто хочет показать собственный образ. Но писатель – это тот, кто хочет знать. Он начинает историю и хочет знать, что произойдет завтра. Есть писатели, которые не хотят, чтобы что-то происходило: «Если я это напишу, что обо мне подумают?» Если бы писатели могли жить, притаившись в тени, если бы их физическое лицо, их социальная жизнь не находились бы постоянно в сфере внимания телевидения, радио, прессы и т. д., литература была бы куда увлекательнее. Эта форма цензуры, думается мне, сегодня наиболее распространена. Писатели гонятся за нравственностью, они хотят предстать справедливыми, понимающими, терпимыми – одним словом, порядочными людьми. Раньше никто не знал, кто они, у них не было лиц, теперь же все на виду и все пытаются выглядеть пристойно. Они забывают, что единственная мораль – это прежде всего эстетика, красота. Им хочется соответствовать определенным критериям антиконформизма. Они не прочь быть отверженными или циниками, во всяком случае яркими, заметными фигурами. Собственный образ. Вдобавок им не хочется надрываться попусту. Они хотят позитива, не приемлют роли шута, артиста, паразита. А ведь на самом деле все это ни к чему. Все напрасно. Ничего не останется. Литература – она ведь бескорыстна. Мы живем в обществе эмпирическом, материалистическом. Все покупается и окупается, все должно чему-то служить, быть полезным. А чему служит литература? Это не ее суть и не ее природа. Писатели – люди, вопиющие в пустыне, и им должно быть глубоко плевать, что рядом маячит тип с магнитофоном, чтобы записать это на пластинку. Если пишешь, воображая себя отражением общества или вагоном

поезда Истории, ты заблуждаешься. Я говорю о сегодняшней литературе. Писатели не хотят больше быть бескорыстными, то была теория Пруста: они хотят иллюстрировать свою эпоху, а их эпоха не имеет никакого значения сама по себе, значение имеет их взгляд на нее. Ведь их эпоха – это Шекспир, Бодлер, Пушкин. Возможно, изъяны эпохи дадут им звучание, силу, шекспировскую пульсацию. Возможно, в Индии люди умирают от голода, и некий писатель, возмущившись, найдет гениальный голос, чтобы рассказать об этом. Но возможно и то, что этот же голод подпитывает эгоистичную меланхолию другого писателя. Эта меланхолия вдохновит его на прекрасный роман о любви сытых людей. Не писатель служит эпохе – она ему служит.

Вы не думаете, что писатель должен играть определенную роль?

За исключением очень редких примеров (Золя, Вольтер, Руссо до Французской революции, Солженицын), роль писателя прежде всего поэтическая. Он куда чаще бывает комментатором, чем провокатором. В эпоху Руссо люди, умевшие читать, уже были привилегированными. Руссо оказал больше влияния на комментаторов Французской революции, чем на тех, кто ее совершил. Писатели думают, что влияют на умы, но они ошибаются. Миром движут только события – а вот отсутствие духовной цели становится фактором чудовищной смуты. Мы живем среди слов, не имеющих больше никакого смысла. Например, государство не представляет больше своих граждан: так называемый экономический рост, которым нам прожужжали все уши, – понятие устаревшее, смехотворное для развитых стран. Людей заставляют жить ложными посылами. Нам говорят одновременно, что экономический рост трагически падает и что скоро нас будет пять миллиардов. Предлагают лишь конкретные факты, забывая, что люди живут своим толкованием фактов. Людей считают идиотами: им предлагают – если предлагают – прирост материальных благ, забывая, что им необходимо еще и мечтать. Писатель может им в этом помочь, и это главная его роль. Но надо еще, чтобы читателям оставили время мечтать. Их жизнь заполонило телевидение. В сравнении с телевидением писатель – это благо, так как он дает возможность выбирать образы и упражнять воображение на тысячу ладов.

Вы критикуете себя?

Критикую, не критикуя, не видя себя. Я говорю себе: как есть, так и есть. Я не очень трудолюбива. Пишу, пишу, а под конец – вижу. Я, в принципе, не люблю людей, которые хвалятся тем, как много работают или ждут вдохновения – короче, усиленно строят из себя писателей. Я всегда использую свою лень по максимуму.

Лень необходима. Ведь книги во многом создают из потерянного времени – мечтая, ни о чем не думая. Просто вдруг однажды вырисовываются персонажи. Я не верю ни в технические приемы, ни в новый роман. Куда важнее мне представляется пристальное внимание к человеку. Единственный сюжет для писателя – то, что происходит в головах и в сердцах людей. Все остальное – так, анекдоты, это неинтересно.

Вы не столько пишете, сколько описываете. Вам никогда не хотелось что-то выдумать, выйти за рамки обыденного?

Я всегда выдумываю. Мои персонажи никогда не повторяют людей, которых я знаю, это было бы грубо. Но чтобы выйти за рамки обыденного – нет. Нереальное мне скучно. Никогда не могла читать сказки. Обыденность достаточно богата, люди непохожи друг на друга, разнообразны, сложны...

Вы робеете перед вашими героями?

Нет,нисколько. Хотя, пожалуй, стоило бы. Порой я бываю к ним снисходительна. Иной раз некоторые становятся другими, не такими, как я их замышляла поначалу. Как говорят на романтический манер: «Они вам неподвластны». Но я вовсе не чувствую, что с ними не справляюсь. Наоборот, мне кажется, я их кормлю, помогаю им. Мне безумно трудно обидеть моих героев плохим концом. Я их очень люблю. Я не смогла бы, как Флобер, иметь дело с героями, которых презираю. Таких я и в повседневной жизни стараюсь избегать.

Как бы вы охарактеризовали своих героев?

Я думаю, они маргиналы. Но, конечно, сами этого не знают. Быть маргиналом можно, только не зная об этом. Люди, объявляющие себя маргиналами, на самом деле таковыми не являются. У моих маргиналов есть некое чувство бескорыстия, ставшее, кстати, редкостью в наши дни.

Они всегда в состоянии разлада... Любовные горести, денежные затруднения, молодость уходит...

Все героини романов пребывают в состоянии разлада в начале книги. Это необходимо. Счастье героев – беда писателя. Что можно сказать о том, кто счастлив?

За исключением в «Немного солнца в холодной воде» в ваших книгах нет цельных характеров. Почему?

Цельность – в литературе это слишком просто. Цельный персонаж вынуждает вас идти напрямиком к развязке, которая заранее известна. А мне интереснее долгая, с переменным успехом, порой скучная, порой упоительная битва обыкновенных людей с жизнью.

Ваши герои не озабочены жизнью и смертью...

Нет.

Они озабочены сиюминутным.

Конечно, как, впрочем, и я.

Вы много писали о старости и любви...

С определенного возраста мы питаем к людям лишь те чувства, что нас устраивают, отводим им то место, которое нам удобно. Это вопрос распорядка. У меня есть подруги, которые наладили жизнь с любовником, чьи требования соответствуют их налаженному образу жизни. Это и есть старость – когда ваши чувства подчиняются привычке, этой второй натуре. Выбор человека определяет оставшееся место. Печальная победа. Нет больше места неожиданному. Эти женщины – победительницы, другие же приспосабливаются к чужому распорядку. Победительницы дорожат собственным представлением о себе и действуют как в пятнадцать лет, так и в шестьдесят пять, в зависимости от того, кем хотят казаться. Но, как правило, в пятьдесят-шестьдесят люди выбирают комфортные чувства, они не хотят больше сердечных ран. Лишь очень немногие говорят себе: «Я готов».

У вас есть своя теория касательно «любовной сцены»?

У меня нет готовой теории касательно «любовной сцены», когда я начинаю книгу; у меня нет плана, только ситуация и персонажи, которых я свожу вместе и которые всегда могут повести себя иначе, чем я предполагала изначально. Бывает, что кто-то из персонажей вдруг выскажет собственное мнение, отчего сразу становится мне симпатичен или антипатичен. Когда я пишу роман, мне иной раз самой не терпится узнать, что будет дальше.

Так же и любовные сцены рождаются сами собой, к ним приходишь естественным образом по ходу повествования. И в конечном счете характер этих сцен обусловлен характером героев, которые в них участвуют. Я не люблю подробных описаний в том, что касается любви. Когда есть любовь, когда она возможна и взаимна, свершается поэтическое и плотское чудо. Это чудо я и хочу выразить, хоть и не могу описать в полной мере.

Пишете ли вы в ваших книгах о себе?

Нет, мне это неинтересно. Я никогда не пытаюсь отождествлять себя с героями. Они, быть может, мое порождение, но не я. Фантазия и жизнь – не одно и то же. Книга – это всегда немного миф. Греза, мечта, необязательно имеющая отношение к жизни. Вот что забавно, так это вдыхать жизнь в персонажей, которых не знаешь. Это куда занятнее, чем говорить о себе.

Говорить о себе трудно?

Нет, просто не так интересно. Я, конечно, иной раз могу и сама с собой поговорить, когда есть время. У меня с собой вполне

дружеские отношения. Я себя выношу – но не увлекаю.

Несмотря на это, ваши книги похожи на вас?

Наверное, но мне трудно сказать чем.

Необходима ли ясность ума, чтобы писать?

Да, совершенно необходима.

Не нужно ли, наоборот, забыть, потерять над собой контроль?

В поэзии, может быть, но не в беллетристике. Стыдливость – один из способов держать в руках нить повествования. Шедевр редко бывает бесстыдным. У Стендаля вы не найдете бесстыдства, и даже у Достоевского его нет.

Есть ли у вас ощущение, что вы у кого-то что-то позаимствовали?

Я наверняка немало позаимствовала у всех тех, кого с увлечением читала. У всех, сама того не сознавая. Это точно. У Стендаля и Пруста в лучшем случае, у Поля Бурже^[33] в худшем.

Вы сами определили место ваших книг в литературе: не Пруст – не вокзальное чтиво. Каков же ваш «литературный жанр»?

Это не «литературный жанр». Это просто моя литература. Которую я считаю честной, ибо она не претендует на слишком многое. Я не пытаюсь вложить в нее «послание» – я всего лишь пишу. Но надо сказать, что трезвый взгляд не предполагает чрезмерной скромности. Я считаю, что талантлива. Более талантлива, чем многие обо мне говорят. Может быть, менее, чем утверждают некоторые. Талантливее девяти десятых публикующихся сегодня писателей. Но я не Сартр, я не написала «Слова».

Вы как-то сказали: «Пруст гениален, а я талантлива». Считаете ли вы, что никогда не будете гениальной?

Я по-прежнему мечтаю, что это когда-нибудь придет. Не верь я в это, не писала бы. Я, наверное, сказала это в пору, когда думала, что есть грань между гением и талантом. Сегодня – не знаю... Да, есть гений Пруста. Пруст гениален, это очевидно. Чтобы быть гениальным, надо, наверное, только этим и заниматься, посвятить этому всего себя. Я же всю жизнь больше жила, чем писала.

И никогда не думали изменить свою жизнь, чтобы стать гениальным писателем?

Нет, о нет! Возможно, будь я уверена, что стану, перестала бы жить своей жизнью, но ставка слишком высока, а результат неизвестен... Пруст не жил, потому что заболел астмой и не мог больше любезничать в гостиных. А у меня нет астмы, вот досада-то!

Случалось ли вам думать, что вы пишете шедевр?

Писатель всегда думает, что его следующая книга будет шедевром. Мне иногда приходят мысли о том, что надо сделать, чтобы «допрыгнуть», но такие смутные... Во всяком случае, это была бы вещь о любви, с очень небольшим количеством персонажей... Надо будет все профильтровать через их головы, мне придется раздваиваться и быть каждым из них. И еще, столкнувшись с проблемой, избегать пируэта или красоты. Но, знаете, если однажды я скажу себе: «Вот, я написала ту самую книгу, которую хотела написать», – то к тому времени доживу до маразма и паранойи и утрачу всякое критическое чутье.

Вам не случается бояться «повторения пройденного»?

Вот уж на что мне наплевать. Обновлять темы, менять антураж – это мания прессы. Как сказал Кокто: «Мода – это то, что выходит из моды». Я пишу то, что мне хочется писать. И точка. Какие бы то ни было «нео» мне скучны.

Думаете ли вы, что когда-нибудь бросите писать?

На свете столько маразматиков, пишущих до последней минуты, что и я, может быть, когда-нибудь буду писать маразматические вещи. Как бы то ни было, пока не напишу этот бессмертный шедевр – не брошу. Но как же это действует на нервы!

Вы любите ваши книги?

Когда начинаю их писать – нет. Но когда наступает момент нирваны, о котором я только что говорила, – да. И после этого еще недолгое время люблю их нежно: два-три месяца. А потом расстаюсь с ними, когда они уходят к читателю.

Вы их перечитываете?

Никогда. Я бы запросто завалила экзамен по собственным книгам.

Согласны ли вы, как правило, с вашими критиками?

Редко. На мой взгляд, они либо слишком за, либо слишком против. Особенно это касается «Здравствуй, грусть» – успех был непомерный. Я этого успеха так никогда и не поняла. Мне иногда думается: книга была хорошо написана, и потом, это отсутствие комплекса вины, идея свободной любви. Но вряд ли этого достаточно. К счастью, я была не так глупа, чтобы верить, будто из-под моего пера вышло произведение искусства. Мне было семнадцать лет, но я много читала, и, в частности, Пруста!

Есть один пункт, по которому меня часто критикуют – и напрасно. Как ни странно, всегда говорили, что я помещаю своих героев в позолоченный мирок. Это неправда. Мои герои живут в разных средах. Кстати, когда я написала книгу, действие которой происходило на шахте, все говорили: «Куда она лезет?»

Вам часто ставят в упрек ваши описания...

Они необходимы. Я не стану вымарывать картину, если она хороша. Лиризм – это развитое восклицание. Нельзя восклицать? – Только этого не хватало! К чему тогда краски, чувства? Пусть проваливают к чертям, если им это не нравится. А мне нравится, и я дерзаю. Эти закаты, эти возвращающиеся на рассвете корабли в туманной дымке – я их видела. Всякая литература условна. Если писать ради новизны, ничего хорошего не получится. Одному кутюрье, который расхваливал мне немислимую вещицу, какой никогда еще не делали, я, не удержавшись, заметила, мол, не делали, и не надо, потому что это безобразно.

«Легкая музыка», о которой всегда говорят в связи с вашими книгами, – вас это раздражает?

Я привыкла. «Легкая музыка», «горько-сладкий вкус», я сама запросто могу составить «набор Саган».

Существует ли, по-вашему, женский почерк в литературе?

Я не думаю, что существует какой-то специфический женский почерк, но, возможно, есть женская литература, в том смысле, что многие пишут с мыслью, что они женщины, либо утверждая, либо отрицая свою женственность. Романы получаются жалостливые или сухие. Лично я, когда пишу, не думаю о разнице полов. В идеале в своих произведениях не следует присутствовать. Хорошая литература – это та, при чтении которой не думают об авторе. К сожалению, в моде как раз обратное. Читая «Братьев Карамазовых», не думаешь о Достоевском. Это большой недостаток современной литературы: писатели изображают самих себя вместо того, чтобы изображать своих героев. Претенциозное и одновременно жалкое зрелище. Сегодня эта тенденция, пожалуй, заметнее у мужчин. Если женщина-писательница думает о себе, это чувствуется. Если она любит писать, то о себе не думает. Просто не думает, и все. Когда писатели сохраняли анонимность, литература была куда более живой; теперь же писатели стремятся в своих произведениях рассказать о себе. Зачастую это нарциссизм. Куда интереснее читать книгу, в которой писатель выражает себя через своих героев. Когда нет этой тяги к самоудовлетворению. Сегодня писатель как персонаж куда важнее своих персонажей. Люди лучше помнят меня, чем героев моих книг.

Что самое ценное дало вам писательство?

Цель, вожденную и недостижимую, – цель, вопреки или благодаря этому, всегда желанную. Писать значит воображать то, что знало наше «я». Это единственный для меня способ познания себя. Это в моих глазах единственный реальный знак того, что я существую, и единственное, что мне очень трудно дается. Когда я

пишу, меня не отпускает чувство, что я иду напрямик к неудаче, по крайней мере относительной. Это одновременно дело гиблое и выигрышное. Безнадежное и пленительное. Когда пишешь, иной раз вдруг словно докапываешься до скрытых в себе истин, которые выходят наружу, раскрываются. Писательство – мой вечный двигатель, благодаря ему я постоянно сомневаюсь в себе и никогда не успокаиваюсь. Брось я писать, жизнь стала бы другой, мне бы не хотелось больше искать слова, выражающие мои чувства, не хотелось бы даже понимать и узнавать – жизнь стала бы мертвой.

Какое определение вы бы дали писательству?

Сочинять то, что уже знали... Собрать воедино все свои слабости – ума, памяти, сердца, вкуса и инстинкта, как если бы они были оружием... И бросить их на штурм «ничего», белого листа, который то и дело предлагает нам наше воображение.

В каком возрасте вы начали читать?

Еще года в три я брала книгу и гордо расхаживала с ней по дому... иногда держа ее вверх ногами. Думаю, мне очень хотелось покрасоваться! Мама никогда не читала мне сказок перед сном. Я этого терпеть не могла и до сих пор не могу. Наверное, потому, что мне претит все нереальное, выдуманное. А вот романы Клода Фаррера^[34] я обожала, думаю, за их экзотику, но она и их мне не читала. Вообще, родители никогда мне не говорили «Не читай того, бери пример с этого». И я читала все, что попадалось под руку. В определенный период моего отрочества для меня много значил Камю, даже больше, чем «Шейх и его лошадь», эту книгу я девчонкой читала запоем, вот только автора забыла.

А сегодня вы много читаете?

Читаю все время, даже когда пишу. В этом случае (когда у меня очень мало времени!) я, конечно, не обращаюсь к высокой литературе, предпочитаю «Черную серию»^[35]. Проработав несколько часов без перерыва, я отдыхаю за чтением. Доверить думы кому-то, кто думает за вас, особенно если речь идет о яркой книге, – для меня лучший отдых. Обожаю читать, это вселяет в меня оптимизм.

А иногда и ревность?

Когда книга мне нравится, я слишком довольна, чтобы ревновать. Завидую – вот более подходящее слово. Но все же преобладает ощущение счастья, когда, например, я открываю для себя «На маяк» Вирджинии Вульф, которую до сих пор находила нудной, когда перечитываю «Красное и черное» или Пруста... Перечитывать я люблю еще больше, чем читать.

Что вы покупаете в книжных магазинах?

Что придется, я все сметаю, покупаю каждый раз две-три

книги из «Черной серии», зарубежные романы, много переводов американской и английской литературы. Я обожаю Айрис Мердок, Сола Беллоу, Уильяма Стайрона, Джерома Сэлинджера, Карсон Маккаллера, Джона Гарднера... И Кэтрин Мэнсфилд. Мне очень понравилась книга Энтони Берджесса, который обычно наводит на меня тоску, посвященная Сомерсету Моэму: «Силы земли», она меня изрядно повеселила. Это так же уморительно, как «Зеленая кобыла» Марселя Эме. «Записки Пиквикского клуба» Диккенса, книги Ивлиева тоже полны гениальных сцен, от которых я покатываюсь со смеху.

Кого из французских авторов вы любите?

Пруста, конечно же, Пруста я регулярно перечитываю и неизменно нахожу у него что-то новое. Тогда я возвращаюсь назад, перелистываю страницы, читаю заново. Каждый раз мне открывается еще тот или иной аспект, которого я не замечала прежде, и я знаю, что всегда буду возвращаться к этому писателю.

Еще «Пармская обитель». Ах! Стендаль!.. А вот Флобера я недолюбиваю, уж слишком он «мачо». Прежде всего, я нахожу его женские образы односторонними. Он не желает улавливать нюансы и тонкости слабого пола. Его чересчур мужские описания раздражают меня донельзя. Решительно это не мой автор. Первым писателем, изобразившим умную женщину, был Стендаль. До него все женщины рассматривались как объекты желания или шлюхи. Он действительно одним из первых разрушил этот архетип. И слава богу!

Еще я люблю Мопассана, как все.

Ближе к нам – Кокто, я всю жизнь перечитываю его стихи.

Вернемся к Прусту. Что вы в нем любите: его мир, дистанцию между этим миром и тем, в котором живете вы, его стиль?

Я люблю всю ткань повествования, все, что он говорит о людях, о поведении людей, о человеческой психологии, люблю у него такое подробное, я бы сказала, дотошное развитие характеров. Люблю его за то, как настойчиво он до всего докапывается, все вылущивает в человеческом существе. В этой страсти мне видится что-то исключительно нежное.

Для вас Пруст – это больше люди или среда?

Люди, конечно. Среда – отнюдь не главное, главное – одиночество и усилия, которые предпринимают люди, чтобы сломать эту стену. У Пруста все в поиске: ищут кого-то, с кем можно было бы хоть немного разделить жизнь.

Для вас это вопрос?

Да. Как и для всех. Я не могла бы назвать многих людей, смирившихся с жизнью в одиночестве. Кроме, может быть, великих. Не знаю.

Есть ли какое-нибудь литературное течение, или школа, или среда, к которым вы, на ваш взгляд, близки, или вы решительно ставите себя вне всяких течений?

Нет, я не ощущаю принадлежности ни к какому течению, да и не думаю, что в наше время найдется много литературных течений. Писатели во Франции очень разобщены, каждый сам по себе.

Вы были знакомы с новым романом и в каком-то смысле пережили его. Какие у вас отношения с Роб-Грийе?

Я люблю некоторые его книги. Не все. Книги Маргерит Дюрас я тоже любила. Она прежде всего великая романистка.

Вы читали популярных романистов, мастеров романа с продолжением прошлого века?

Я читала Александра Дюма, Мишеля Зевако, его серию о Пардайяне, Эжена Сю.

Вы находите их талантливыми?

Да, очень. Это так забавно. Чувства юмора у них не отнять. Я представляю их себе школьниками, хохочущими над приключениями своих героев. Есть в их романах заразительное веселье, и в них чувствуется полное взаимопонимание с читателем.

Джойс много значит для вас?

Вовсе нет. Мне безумно трудно его читать. Я читала «Дублинцев» – книга замечательная, но герметичная.

Что вы думаете о внутреннем монологе у Джойса?

Монолог Блума – большое открытие. Я оценила этот новаторский прием, но книги Джойса, как правило, просто выпадают у меня из рук.

Кто вам нравится в современной французской литературе?

В последние годы я читала мало хороших французских книг. А между тем у нас есть очень одаренные авторы. Бернар Франк – настоящий писатель, может быть, лучший; Франсуа-Оливье Руссо, очень недооцененный, написал превосходные романы. И Жак Лоран: его «Стендаль» – чудо, и он написал лучшую повесть о безработице, какую я когда-либо читала. Она называется, кажется, «Мутант», вышла в безобразной кричащей обложке, но книга интереснейшая.

Ну, а Сартр – особая статья; он меня трогает, потрясает и восхищает как писатель и как человек. Писатели-романисты склонны замыкаться на себе, только о себе рассказывать, только собой интересоваться. Отнюдь не таков был Сартр. Знаете, писать – увлекательный и небезопасный путь. Он требует гордости, жизнеспособности, ума, силы. Писатель добровольно бросается в горнило, горит, а потом выходит измученный, выжатый, как

лимон, еле живой. Так что надо много сил, чтобы еще интересоваться людьми. Я-то априори склонна считать, что люди интересны.

В 1979-м, за пять лет до публикации сборника эссе «В память о лучшем», в котором я рассказала о Жан-Поле Сартре, я написала ему письмо, напечатанное в «Матэн» и в «Эгоисте».

«Дорогой мсье Сартр,

Я обращаюсь к вам “дорогой мсье” с мыслью о толковании этого понятия в словаре, куда я заглянула еще в детстве: “Мсье – обращение к любому мужчине”. Я не обращаюсь к вам “дорогой Жан-Поль Сартр”, это слишком по-журналистски, ни “дорогой мэтр”, ведь вы терпеть не можете этого титула, ни “дорогой собрат по перу”, что было бы слишком самонадеянно.

Много лет я вынашивала это письмо, пожалуй, лет тридцать, с тех пор как начала вас читать. Но особенно последние десять-двенадцать лет, с тех пор как восхищаться стало смешно и восхищаются столь редко, что уже хочется стать посмешищем. А может быть, я настолько постарела или настолько помолодела, что готова пренебречь сегодня этой опасностью показаться смешной, тем более что вы всегда были выше этого.

Вот только я хотела, чтобы вы получили это письмо 21 июня, в счастливый для Франции день, когда родились, с разницей в несколько десятилетий, вы, я и, много позже, Платини [36], три исключительные личности, которых и превозносили до небес, и безжалостно топтали – вас и меня, слава богу, только в переносном смысле, – в отместку за чрезмерные почести или скандальные провалы. Но лето – пора короткая, суматошная и быстро вянущая, так что, в конце концов, я отказалась от мысли приурочить эту оду ко дню рождения. И все же я должна была вам высказать то, что выскажу сейчас, в оправдание этого сентиментального обращения.

Итак, в 1950 году я начала читать все подряд, и с тех пор одному богу и литературе известно, скольких писателей я любила и сколькими восхищалась, в том числе из ныне живущих, во Франции и за ее пределами. За эти годы с одними я познакомилась лично, за творчеством других следила издали, но, если еще многими я восхищаюсь как авторами произведений, то вы единственный, кем я продолжаю восхищаться как человеком. Все, что вы посулили мне в мои пятнадцать лет – в возрасте умном, взыскательном и целеустремленном, а стало быть, бескомпромиссным, – все эти обещания вы сдержали. Вы написали самые умные и самые честные книги вашего поколения, более того, вы написали самую, на мой взгляд, яркую и талантливую книгу французской литературы: “Слова”. В то же время вы постоянно

очертя голову бросались на помощь слабым и униженным, вы верили в людей, в идею, в общечеловеческие понятия; порой вы заблуждались (как и все), но вы (в отличие от всех) всегда признавали свои ошибки. Вы упорно отказывались от всех и всяческих лавров, как и от материальных благ, которые вам приносила слава; вы даже отказались принять Нобелевскую премию по литературе, которая считается почетной, хоть и нуждались в деньгах; на вашу жизнь дважды покушались в годы Алжирской войны, вы чуть было не стали жертвой бомбы прямо на улице, но и глазом не моргнули; вы навязывали директорам театров актрис, которые нравились вам, на роли, не всегда им подходящие, тем самым с блеском доказывая, что для вас любовь может быть “ярким трауром по славе”. Короче говоря, вы любили, писали, делились, давали все, что могли дать и что было важно, в то же время отказываясь от всего, что вам предлагали и что было тщетой. Вы были в равной мере писателем и человеком; вы никогда не утверждали, что писательский талант оправдывает человеческие слабости, что счастье творчества позволяет презирать кого бы то ни было, пренебрегать близкими и всеми другими людьми. Вы даже не утверждали, что талант и честность оправдывают ошибки. Фактически вы не укрывались за пресловутой хрупкой природой писателя, не пускали в ход обоюдоострого оружия – таланта, вы никогда не были Нарциссом, а между тем это одна из трех ролей, отведенных в наше время писателю (две другие – маленький господин и большой слуга). Напротив, талант, это якобы обоюдоострое оружие, вовсе не пронзило вас с болью и наслаждением, как это произошло со многими; в вашей руке оно было легким, действенным и маневренным, вы любили его и нашли ему применение, передав его в распоряжение жертв, истинных жертв в ваших глазах, тех, кто не умеет ни писать, ни объясняться, ни драться, ни даже жаловаться на жизнь.

Не зывая к справедливости, поскольку не хотели никого судить, не говоря о чести, поскольку не желали, чтобы вас чествовали, даже не упоминая о щедрости, поскольку, не ведая того, сами ее воплощали, вы были единственным поборником справедливости, чести и щедрости нашего времени, неутомимым трудягой, все отдающим ближнему; вы жили, обходясь без роскоши, но и не подвергая себя лишениям, без табу и без разгула (если не считать искрометного разгула творчества), принимая любовь и даря ее, обольстительный и всегда готовый обольщаться, превосходя своих друзей по всем статьям – обгоняя их за рулем и выделяясь среди них блеском ума, – но при этом постоянно оглядываясь на них, дабы скрыть свое превосходство. Вы

предпочитали быть обманутым, нежели равнодушным, вы даже предпочитали разочарование жизни без надежды. Образцовая жизнь для человека, никогда не стремившегося быть образцом для подражания!

И вот вы лишились зрения, говорят, не можете больше писать и наверняка чувствуете себя порой таким несчастным, каким только может быть человек. В таком случае вам, надеюсь, будет приятно узнать, что, где бы я ни побывала за двадцать лет – в Японии, Америке, Норвегии, в Париже и во французской провинции, – я везде встречала мужчин и женщин всех возрастов, которые отзывались о вас с таким же восхищением, верой в вас и благодарностью, какие высказываю вам я в своем письме.

Этот век оказался безумным, бесчеловечным, продажным. Вы были и остались умным, добрым и неподкупным. Так пусть же воздастся вам за это сполна!»

Вы действительно любили этого человека...

Из всех людей, которыми я восхищалась, его я любила больше всех. Когда я близко познакомилась с Сартром, умер мой отец. Отец был совсем другим, и все же я восприняла это как некую эстафету в интеллектуальном и духовном плане. Сартр был такой весельчак! А как он лгал прекрасной Симоне!

Вы встретили его однажды в некоем месте с дурной славой...

Да, в одном доме на улице Вавен. Я сама была не одна – и вдруг мне навстречу Сартр с женщиной. Разумеется, мы не поздоровались, не сказали друг другу ни слова. А в тот же вечер по иронии судьбы я ужинала с ним, моим мужем и Симоной де Бовуар.

Какие у вас были отношения?

С Сартром мы понимали друг друга с полуслова. Мы оба родились 21 июня, я – через тридцать лет после него. Он называл меня «проказница Лили», потому что я всегда строила какие-то безумные планы. Мне очень его не хватает. Мы не виделись двадцать лет, и однажды я случайно встретила его; он уже был болен, и я написала ему это письмо. Он его прочел и попросил меня прийти к нему; я тотчас примчалась. В последний год его жизни мы каждые две недели вместе обедали в ресторане. Говорили о жизни, о любви. В основном о женщинах... Например, он говорил мне о своих бывших любовницах, не очень хороших актрисах, которым он давал главные роли в своих пьесах: «Люди – странные создания! Чего стоит триумф на сцене, если потом на вас целый год дуются!»

Я чувствовала себя его матерью, потому что он был почти слеп, и я резала ему мясо и водила за руку, и его дочерью, потому что он всегда высказывал мне свое мнение о той или иной личной

проблеме. Мне невыносимы все эти вещи, которые я читала о нем после его смерти, когда какие-то люди рассказывали, как он ронял куски сыра на брюки. Ужас. Он был болен, да, но веселее иных здоровых, очаровательный и очень мужественный.

Мы ни о чем серьезном не говорили, ни о моих книгах, ни о его, болтали глупости, и нам было очень весело. Зато мы говорили о том, что хотели бы написать, что он хотел бы написать, но не успел и уже не напишет, потому что ослеп... Я помню одну новеллу, которую он так и не смог написать из-за слепоты. Трагическое у него было положение. Но до самого конца он оставался бодрым, душевным и терпимым, как никто. Он как-то объяснил мне, что очень умные люди никогда не бывают злыми. «Я знал, – сказал он, – только одного человека, одновременно умного и злого: он был педерастом и жил в пустыне!»

В ресторанах вы, должно быть, производили фурор...

Я, заикаясь, прошу столик, а он держится за мою руку – да, в ресторанах это был выход комиков. Его, кстати, это забавляло.

Симона де Бовуар не ревновала?

Не думаю, у нее не было на это никаких причин. А вот люди, окружавшие Сартра, еще как ревновали. Когда я заходила за ним, он был уже готов, стоял в прихожей в пальто. Он говорил мне: «Смываемся?» И мы смывались.

В нем было много мальчишеского?

Очень. Когда я отрезала слишком большие для него куски мяса, он говорил мне: «Ах! Ах! Никакого уважения!» Я ела как птичка, а он ел за десятерых. Наши аппетиты были соразмерны весу нашего творчества.

Вам не хватает Сартра?

Конечно.

Он был...

Очарователен, умен, полон юмора!

Он боялся смерти?

Мы никогда об этом не говорили. И об общих знакомых тоже. Мы всегда говорили так, будто встретились на перроне вокзала!

В общем, любовь?

Своего рода любовь... с моей стороны уж точно!

Короткая страсть...

Если бы ее не оборвала смерть, она бы продолжалась, во всяком случае у меня.

Каких еще современных французских авторов вы любите?

Филиппа Соллерса – не за отношения с женщинами, но за его своеобразную грусть, очень трогательную. Патрик Модiano и Жан-Марк Робертс тоже всегда меня трогают.

Меньше нравятся мне некоторые модные ныне романы, авторы которых больше думают о литературе, чем о собственно истории, и больше хотят поучать, нежели рассказывать.

Но быть писателем во Франции сегодня трудно. Если обращать внимание на критику, вас то и дело припирают к стенке. В самом деле, больше нет доброжелательной критики: ничего, что помогало бы вам писать. Все субъективно, статья – выступление автора, из которого вы не узнаете ничего для себя нового.

А издатели – много ли они делают для литературы?

В издательском деле очень мало людей, которые действительно читают, действительно любят литературу и занимают посты, соответствующие их способностям. Зато невежд на высоких постах пруд пруди. Мне повезло: я начинала с издателями, у которых были одновременно талант и деньги. Сегодня недостаточно поддерживают начинающих писателей, чьи первые книги, как правило, продаются плохо. А им надо бы дать время созреть.

Какие воспоминания вы сохранили о вашем первом издателе, Рене Жюльере?

Это был совершенно очаровательный человек. Какой он был издатель – не знаю, я ведь пришла с готовой книгой, которую он взял и опубликовал. Ему нравилась книга, и он в нее верил. Ну, а потом получилось то, что получилось, и после этого я стала чем-то вроде ученицы чародея. Он читал мои книги и не думал что-либо в них менять. Все шло само собой. Он был больше моим издателем, чем литературным консультантом. Но человек был изумительный.

Какой ваш любимый роман о любви?

Невозможно назвать какой-то один. Возьмите «Идиота» Достоевского; это сильнейший роман о любви: он любит всех, она любит его одного. А «Пленница» Пруста – какая глубина проникновения! Хочется еще упомянуть «Пармскую обитель», «Дикие пальмы» Фолкнера, «Ложимся во мрак» Уильяма Стайрона.

Вы встречали на жизненном пути кое-кого из «чудовищ». Каким был, например, Занук? [37]

Занука я знала влюбленным в Греко^[38]. Влюбленным и несчастным в ту пору. И потому человеческим.

А Орсон Уэллс?

Никто на свете, я думаю, не может произвести такого впечатления гениальности, столько в нем чрезмерного, живого, рокового, столько категоричности, разочарования и страсти... Уэллс любил людей определенного типа, наверное, своего:

неистовых, нежных, умных, аморальных, богатых. Он был одержим и изнурен самим собой, силой своей натуры, властелин, деспот, всегда непонятый и никогда на это не жаловавшийся. Даже, наверное, не думавший об этом... Никто никогда не сможет снять фильм об Уэллсе, по крайней мере я на это надеюсь, ведь ни у кого на свете нет его стати, его лица и, главное, этого неугасимого света в глазах – света гения.

А Теннесси Уильямс?

Это был добрый человек. В нем, как в Сартре, как в Джакометти и еще в нескольких людях, которых я мало знала, была эта абсолютная неспособность причинить зло, ударить, обидеть. Он был добрым и мужественным.

А Франсуа Миттеран по-прежнему регулярно приезжает обедать с вами тет-а-тет?

Это бывает каждые четыре-пять месяцев, когда есть время. Он спрашивает по телефону через свою секретаршу: «Я могу прийти к обеду?» И приходит, спокойненько, один. Соседи в коридоре удивляются. Чудесный гость – всегда вовремя и всегда в хорошем настроении. О политике мы не говорим. Я стараюсь угощать его блюдами, каких он не ест на своих банкетах: например, тушеным мясом с овощами. Он умный человек, любит литературу, не лишен чувства юмора. Мне нравится, что он сумел остаться человеком при всей своей власти.

Какое место занимает в вашей жизни Бернар Франк?

Это мой лучший друг наряду с Жаком Шазо. Нам с Бернаром не раз случалось жить под одной крышей. В иные дни это становилось невыносимо, мы готовы были убить друг друга. У него свои страсти, у меня свои. Но мы всегда сходились вновь, после того как один присутствовал при последних любовных содроганиях другого.

Какой недостаток вы предпочитаете у мужчины?

Своего рода беспечность. Надо уметь быть с мужчинами ласковой. Мужчины – они же большие дети, большие жеребята. Их надо брать за холку и говорить с ними по-доброму. Как с детьми. Нельзя их все время трясти. Когда мужчина чувствует твою слабость, он в восторге и становится защитником. Мужчины по природе своей защитники, слава богу! Они такие, какими нужны женщинам.

Говорят, вы живете с целой оравой...

Я действительно живу не одна, нас трое или четверо. Если бы я могла жить с оравой, это было бы чудесно! Но слово «орава» предполагает виски, смех, буйное веселье. На самом деле у меня есть очень давние друзья, но нет, как говорят, «клана».

Вы часто переезжаете, почему?

Потому что мне это нравится. Может быть, еще и потому, что мои родители прожили в одной квартире пятьдесят пять лет. Поначалу я следовала за людьми, которые были мне интересны или жили в квартале, который мне нравился. Сегодня я могу прожить до пяти лет в одной квартире, это не так плохо. У меня нет времени ничем владеть. Я обожаю менять обстановку, обожаю смотреть, как плывут новые облака. Не уверена, что я хорошая хозяйка. Когда прислуга спрашивает, что приготовить на обед, это повергает меня в бездну сомнений.

Признание великих писателей вас трогает?

Вообще-то, не так много великих писателей признали меня своей. Критикам и журналистам понадобилось двадцать лет, чтобы допустить, что я – не только рекламный феномен.

Однако же Франсуа Мориак, Теннесси Уильямс вас признали?

Да, и с ними Сартр. Они сказали мне, что я имею право писать: это было до крайности приятно.

Вы общаетесь со многими писателями?

За исключением Бернара Франка практически ни с кем.

Что вы думаете об окружающих вас людях?

Среди них есть умные, есть добрые, славные... Есть такие, которых я по определенным причинам люблю. Я люблю их не за то, что они полуночники, нет, а за то, что они – это они. О них говорят, что они поверхностны, но на самом деле поверхностно судить о людях, которых не знаешь. Узнав ближе, их видишь глубже, яснее.

Многие ваши друзья забавны. Вы этого от них хотите?

О нет! Не только. Для меня вовсе не обязательно, чтобы они были забавными. Я хочу, чтобы они были счастливы, чтобы они были веселы. Я хочу, чтобы они... в общем, я надеюсь, что у них все будет хорошо. Знаете, годам к сорока наступает такой возраст, когда люди говорят себе, что жизнь сложилась более или менее удачно. Так вот, у кого-то из моих друзей она сложилась удачно, у кого-то нет. И я не знаю, считают ли они, со своей стороны, что моя жизнь сложилась удачно. Не знаю.

В вас чувствуется необычайная острота взгляда на людей и в то же время изрядная снисходительность к ним. Потому ли, что вы ни от кого не ждете спасения?

Я жду от людей одновременно всего и ничего. Жду всего в том смысле, что жду, чтобы меня любили, чтобы согревали своим теплом, чтобы жизнь была тепла. Но я ни от кого не жду, чтобы мне помогали жить или водили за ручку.

Это снисходительность или равнодушие?

Снисходительность. Я отнюдь не чувствую себя равнодушной. Знаете, если не считать некоторых превратностей судьбы, я

прожила жизнь, благословенную богами. Так что меня бы первую удивило, проснись я вдруг обиженной или разочарованной.

Говорят, вы верны друзьям. А они всегда отвечали вам тем же?

Нет. У меня бывали приятели, знакомые, отношения, не стоящие ломаного гроша. Когда люди так ко мне относятся, я тотчас выбрасываю их из головы. Немного удивляюсь и сразу забываю о них. Это, кстати, очень удобно.

Стало быть, жизнь вам улыбается?

Да! И даже очень часто. Мне все нравится: люди, встречи, путешествия. Люди интересны мне тем, что они делают, как поступают, как защищаются в жизни, интересны своей натурой, своей восприимчивостью, умом, добротой. Я очень люблю людей.

Вы знаете всех, и все знают вас – хочется ли вам еще новых встреч?

Они у меня случаются на каждом шагу! Необязательно дружеские встречи, просто случайные... В бистро люди, не знающие меня, со мной заговаривают... Сейчас в это, может быть, трудно поверить, но я предпочитаю слушать, а не говорить.

Вы любите заниматься людьми, сбившимися с пути...

Пусть я буду публичным посмешищем, мне это совершенно безразлично... И потом, я слишком хорошо знаю, как можно иногда вляпаться, сама через это прошла! Мне инстинктивно хочется защищать детей, собак, пьяниц...

Эти люди, которых вы приглашаете к себе на протяжении всего года, – они все ваши друзья?

Да. В моей жизни они очень приятны, но не сказать, что необходимы.

Что вы делаете, когда не работаете?

Пользуюсь временем и пространством. Гуляю, встречаюсь с людьми, ничего не делаю... Все новое меня забавляет, порой даже излишне. К счастью, мне необходимо время от времени работать, ведь если бы мне не приходилось писать книги, я, наверно, погрязла бы с головой в пагубных излишествах или просто в лени... Удовольствия ради я писала бы по книге раз в десять лет, а возможно, публиковала бы стихи! И проводила бы все время, слушая любимую музыку.

Вы часто слушаете музыку?

Когда есть желание, обычно два-три раза в неделю. По большей части ночью, потому что никто не беспокоит и не звонит телефон. Я страстно люблю камерную музыку Бетховена, я погружаюсь в нее с головой и надолго. «Септуор Бетховена» в исполнении Венского оркестра – это изумительно.

Что вам особенно нравится в этом произведении?

Не знаю. Наверное, голос, взывающий о любви. Есть в нем две части, которые разят наповал, без вступления, без аллегро. Ничего – лишь одна музыкальная фраза.

Какую еще музыку вы слушаете?

Обожаю американские песенки, которые передают по радио: глуповатые слова, невнятные чувства и простенький звуковой фон – бим-бом-бом. Американские группы, когда они не слишком грохочут, я просто обожаю.

Вы учились сольфеджио?

Да, в детстве, во время войны. К нам ходила одна почтенная вдова военного, погибшего на фронте, которой надо было чем-то жить. Она сделала маленькую клавиатуру из картона с нарисованными тушью диезами. И я должна была упражняться без звука. Тогда я дала себе слово, что больше никогда не буду заниматься сольфеджио.

Что привлекает вас в композиторах?

Все профессии, обращающиеся напрямую к органам чувств, всегда вызывали у меня зависть. Художник видит то, что он делает. Композитор слышит. Литература – куда менее благодарное занятие: это всего лишь черные слова на белой бумаге. Ужас литературы, смею сказать, в том, что все люди, умеющие читать и писать, берутся вас судить. Они дают вам советы, может быть, и добрые, но чаще всего бесполезные. Но никто ведь не скажет композитору, написавшему фугу: я, мол, на вашем месте дал бы здесь фортепиано, а не скрипку. К художнику и его картине это тоже относится.

А театр?

Театр мне нравится безумно: я обожаю его атмосферу, репетиции, запах дерева, когда устанавливают декорации, актеров, входящих в роль, истерики... Это целый мир, замкнутый и слегка безумный. А потом, на премьере, публика за три часа решает, как в партии в баккара, судьбу пьесы. Месяцы труда, труда автора, труда актеров, зависят от этих трех часов. За все это я люблю актеров, их чувствительность, их восприимчивость к тексту, их нарциссизм, который есть сама суть творчества.

Когда пьеса проваливается – что иногда бывает, – для всех людей, погруженных в нее много недель, это как если бы на них упала атомная бомба.

Вам понравилось писать для театра?

Это упоение для автора – видеть, как его текст воплощается в игре актеров. Ты больше не один с чистым листом бумаги. А когда в вечер премьеры поднимается занавес, ни в чем нельзя быть уверенным. Каждый раз – пан или пропал.

В отличие от ваших романов, которые часто написаны на

полутонах, в ваших пьесах всегда творятся черные дела, почему?

Я думаю, что в романе должны действовать люди более или менее обычные, чьи чувства будут приемлемы и узнаваемы для всех. Как в жизни. А вот в театре, где есть четкие правила единства, можно выводить на сцену людей исключительных, безумцев. В силу избытка ограничений и избытка свободы пьеса уравнивается сама собой.

Что вы думаете о телевидении?

Раньше, когда семья собиралась вечером дома, люди разговаривали. Теперь этому пришел конец. Они ужинают, глядя в телевизор, и не считают нужным переброситься парой слов. Думаю, даже если бы сын вошел и сказал: «Папа, я убил няню», отец бы не услышал! В Лоте – и то заразились этой болезнью. В моей деревне был один-единственный телевизор, в кафе, и все находили программы дурацкими. В восемь вечера прогуливались по городку, говорили о том о сем – об урожае орехов, каштанов, винограда... А какие байки травил весельчаки! Теперь с восьми вечера в домах закрыты ставни: все сидят у телевизора, ставшего большим иглу, а вернее, большой помойкой, в которой можно забыть о своих проблемах. Даже молодежь погрязает в этом малопомалу... Скажу вам прямо, это просто бедствие.

Случается ли вам тем не менее его смотреть?

Редко.

Вы работали на телевидении, какие воспоминания у вас от него остались?

Была одна попытка, «Борджиа», довольно неудачная из-за каких-то безумных продюсерских дел. В последний момент пришлось заменять сцены сражений рассказами о сражениях. Предпочитаю об этом не вспоминать, это был ужас.

Вы работали и в кино...

Я сняла короткометражку за три дня со съемочной группой из трех человек, и она получила первую премию на фестивале в Нью-Йорке. И еще я сняла фильм, это было полное фиаско, никто его не видел. Он вышел в Париже во время Каннского фестиваля. Критика была скверная, зрителям не понравилось... короче, с кино я завязала. Короткометражка – это, наверное, мой потолок. И все же, если бы нашелся безумец, готовый дать мне денег на фильм, я согласилась бы без колебаний.

Что бы вы хотели снять?

Историю, которая происходила бы не за столом. Потому что ими я сыта по горло, во всех фильмах, которые я смотрю, люди сидят в кафе и едят. Меня это убивает.

Хотелось бы вам поработать с режиссерами?

Да, очень. Но, странное дело, у меня такое впечатление, что

все режиссеры сами пишут свои истории, а не ищут авторов. Во всяком случае, обо мне они не вспоминают.

А мне бы очень хотелось. Я сделала один фильм с Клодом Шабролем, «Ландрю», и немного работала с Аленом Кавалье над одной из моих книг, «Сигнал к капитуляции». Но лучше, на мой взгляд, работать над чужими текстами.

Вас разочаровали экранизации ваших книг?

Были просто ужасные, «Смутная улыбка» – это кошмар. Но были и неплохие.

Вы считаете фильм своим детищем, когда роман уже был опубликован?

Да, и когда я его смотрю, это порой ошеломляет. Если книгу продают американцам, это значит, что дитя полностью отдано новым родителям, и вы, как правило, не имеете к этому никакого отношения. Такими вещами занимается издатель.

У вас не возникает чувства, что вас предали?

Само собой, это предательство. Если вас предают талантливые люди, это не так плохо. Куда хуже, если вас предают бездарь.

Есть ли «сагановская» актриса в современном кино?

Мерил Стрип. Она могла бы сыграть все роли во всех моих книгах и пьесах. Она может все, никогда не впадая в вульгарность. Феноменальная актриса.

Если бы вашу жизнь решили экранизировать в Голливуде, вам это было бы неприятно?

Пока я жива, ее не экранизируют... И потом, кто может ее рассказать? Иные моменты, целые периоды я сама совершенно забыла. Но пока я жива – нет, не экранизируют. После – боже мой, если найдется кто-то достаточно безумный, чтобы пуститься в такую авантюру... Представляю себе лицо Бернара Франка, когда он увидит в роли себя американского актера.

Есть ли в вашей жизни периоды, как, например, у художников бывает розовый период или кубистский период?

Да. Было отрочество и юность. А потом был период нескончаемого праздника, довольно долгий. Очень долгий. Теперь наступил период более рабочий, поспокойнее. Вообще-то, бывают периоды спокойствия посреди праздника и периоды праздника посреди спокойствия. Все всегда немного вперемешку.

Помимо Франции, есть страны, которые вас вдохновили?

Страны, которые меня удивили, – да. Я влюбилась в Кашмир, где провела три недели на корабле-отеле. Это место я полюбила больше всех на свете. Я жила на озере. Смотрела на озеро, и озеро смотрело на меня. Мы с братом ходили охотиться на медведя. Карабкались на горы вслед за проводниками-шерпа. Но я уже

через триста метров просила пощады. Садилась под деревом и говорила себе: «Рано или поздно я увижу медведя». А потом я вдруг подумала: «Но если придет медведь, что я буду делать?» И бегом-бегом взобралась на дерево со своим ружьем. Потом, когда я уже сидела на дереве, мне вдруг пришло в голову: «Но ведь медведи лазают по деревьям». И я бегом-бегом спустилась вниз. И так – хоп-хоп – два часа я лазила вверх-вниз, а приклад бил меня по спине и ногам. Слава богу, медведь так и не пришел.

А Япония?

Я ездила туда читать какие-то дурацкие лекции и, увы, ничего не видела, кроме японской Франсуазы Саган. Она весила вдвое больше меня и ростом была вдвое выше. Это выглядело довольно комично, потому что мы все сидели на полу, и она сказала мне тоненьким дребезжащим голоском: «Знаете, я могла бы быть вашей дочерью».

Я ответила ей: «Ну уж нет! Это невозможно!» Уж очень она была страшная. Ну, потом я спохватилась и забормотала в свое оправдание что-то вроде «Вообще-то у меня сын» и «Я не знала ни одного японца, когда вы родились». Она была очень обижена.

Какие моральные качества важны для вас?

Уважение к людям. Не выношу, когда людей унижают. Терпимость, снисходительность, скажу даже, душевность я ставлю превыше всего. Как и вежливость.

Что такое для вас вежливость?

Быть вежливым значит предвосхищать, думать про себя: «Не трудно ли ему надеть пальто?», «Могу ли я сесть, пока она стоит?», «Не проще ли будет придержать дверь, чтобы она прошла?» В общем, вот такие глупости.

Вежливость – это еще и вопрос времени. Нужно время, чтобы сказать «Огромное спасибо», время, чтобы спросить: «Будьте любезны, скажите, пожалуйста, как пройти на такую-то улицу?», да просто-напросто время, чтобы обратить внимание на человека, кем бы он ни был.

Вам кажется, что вежливость исчезает из обихода?

Прежде она была чем-то само собой разумеющимся, она даже была признаком мужественности у мужчин и женственности у женщин. Теперь же она совершенно исчезла. Встретив каким-то чудом вежливого человека, я падаю в обморок от изумления.

Как ни странно, учтивость – понятие очень демократическое, ведь она предполагает равенство: человек не должен пользоваться чем бы то ни было, не разделив это с другим. А ведь делятся не только с равными или людьми из той же среды. Вообще-то, учтивость – это чужое воображение... Со смутной мыслью о взаимности.

А что вы думаете о грубости водителей?

Я думаю, что пресловутая распушенность иных людей за рулем и стычки на дорогах объясняются во многом тем фактом, что машина стала их одиночной камерой, материнской утробой.

Передвижение на четырех резиновых колесах не отсекает вас от остального человечества, нет, хоть резина и вправду изоляционный материал... Машины стали клетками Фарадея для всех и вся.

А интеллигентность?

Это роскошь, увы, не всем доступная. В сущности, основополагающей добродетелью мне представляется воображение. Имея воображение, ставишь себя на место других, поэтому понимаешь их, а стало быть, уважаешь. Интеллигентность – прежде всего понимание, именно это означает латинский корень этого слова. И не говорите мне, что в тех, кто нас топчет, кроется нежная и ранимая душа, которую надо щадить: люди суть то, что они делают, и ничего больше.

По-моему, лучше быть глупым и восторженным, чем умным и разочарованным. Может быть, потому, что для меня это моральная ценность, счастье мне всего дороже. В наши дни так много говорят о счастье, твердят, что необходимо быть физически, политически, сексуально счастливыми... Мне, однако, кажется, что это определение несколько дискредитировано, ибо с ним связывают неприятное для меня понятие амбиций. На самом деле люди не очень верят в счастье и изощряются на все лады, приписывая ему такие качества, как легковесность и бесполезность. Для меня все наоборот. Несчастье ничему вас не учит, оно ломает вам крылья. Припирает к стене.

Когда я была несчастна, я всегда стыдилась. Это унижительное состояние, глупо не быть счастливой. Знаешь, что это пройдет, но не проходит. Писать? В такие моменты даже это не помогает. Говорят, испытания закаляют, – что за дурная шутка! Мы куда сильнее, когда счастливы. Когда спокойны, когда любим.

Счастье делает вас свободнее и, главное, добродетельнее. А ведь быть добродетельными – не это ли цель любого общества и всего человечества? Почитайте газеты, учебники истории – все хотят быть добродетельными!

Сегодня каждый человек, выступающий по телевидению, называет себя хорошим гражданином, хорошим отцом, защитником слабых и обездоленных, открытым к общению и т. д., и т. п. А вот вообразите, что кто-нибудь скажет: «Мне плевать на людей, плевать на обездоленных, я ем только спагетти, мне нравится быть толстым, у меня полно денег, а вечерами я высматриваю хороших мальчиков у дверей лицеев!» Найдись

такой человек, я пришла бы в восторг, но, само собой разумеется, это шокирует всех смертельно.

Каких чувств вы больше всего боитесь?

Презрения, жалости. Зато я люблю испытывать восхищение.

Что вам нравится в людях?

Смесь обаяния и интеллигентности, доброта. Лично я считаю, что самое главное – симпатия. Ею и проверяется подлинная интеллигентность.

Не люблю, когда человек действует не так, как обещал. Стоит людям попасть под прицел СМИ, они меняются, чтобы всем нравиться, а жаль.

Вы боитесь одиночества?

Нет,нисколько. Я люблю окружающих меня людей, и они меня любят, думаю, безотносительно к моему успеху. Труднее найти одиночество, чем бежать от него. Это как пространство и время... Иметь квадратные метры вокруг и целую ночь впереди – замечательно!

Однако вы часто пишете об одиночестве, почему?

Одиночество – тема, которая всегда была в моде, во всех модных течениях, и представляется мне особенно актуальной сегодня. Мне кажется, что одиночество обратно пропорционально прогрессу средств связи. Всегда можно связаться, есть тысяча технических способов услышать друг друга, поговорить, но мне кажется, что чем дальше шагает наука в этом направлении, тем меньше от этого пользы человеческим отношениям.

Думаете ли вы, что одиночество одинаково во всех кругах?

У снобов считается хорошим тоном утверждать, что, помимо материальных трудностей (что само по себе не сахар!), у людей из народа нет никаких метафизических забот. Послушать их, жизненно важные вопросы – удел избранных. Чушь! Не надо оканчивать Высшую политехническую школу, чтобы задаваться вопросом, что ты делаешь в этом мире... Одной из редких вещей, которую не купишь за деньги, остается моральный комфорт. Под «моральным комфортом» я разумею возможность жить в ладу с самим собой.

Думаете ли вы, что одиночество одинаково у женщин и у мужчин?

Да, безусловно. Мы одиноки, мы умираем в одиночку, а в короткий промежуток времени, отведенный нам в этом мире, отчаянно пытаемся верить, что мы не одни, что кто-то понимает нас, слышит, видит. Это даже не иллюзия, скорее чаяние, желание, которое может сбыться на время.

Думается, любовь – единственное спасение от этого одиночества. Временное. Когда любовь кончается – больно,

грубо, – ты не живешь больше для кого-то, под взглядом кого-то, лицом к лицу с кем-то; и одиночество становится тем ужаснее, что его чувствуешь постоянно.

Меня поразила одна фраза Шатобриана: «Больно не столько потерять человека, ибо, в сущности, без его существования можно и обойтись, больно похоронить свои воспоминания, те воспоминания, что связаны с этим человеком». Похоронить свои воспоминания – не думаю, что это делается осознанно. Мне кажется, воспоминания выветриваются и исчезают сами собой.

Близкий человек помогает вам делить минуты, мгновения. То, что называют любовью, – это прежде всего желание высказаться, поговорить с кем-то, увидеть себя в глазах кого-то, существующего рядом, и существующего пленительно. Это, кстати, и объясняет, на мой взгляд, истории большой любви, непостижимой для посторонних, между очень умным мужчиной и глупой женщиной или, наоборот, между выдающейся женщиной и дурачком. Просто кто-то вдруг слушает вас, видит вас, и вся ваша жизнь – пусть даже заурядная – рассказанная ему, становится богатой событиями, интересной, блестящей. Любовь – это когда, что бы с вами ни приключилось, вы говорите себе: об этом надо ему рассказать, сюда надо с ним прийти. К несчастью, люди имеют злополучную и инстинктивную склонность приносить в чувства силовые отношения. Люди боятся жизни, ее ударов и поэтому сразу занимают позицию, в которой победителем выйдет тот, кто любит меньше, а тот, кто любит больше, останется в проигрыше. Это, однако, ложный вывод.

Вы думаете, что существует счастливая любовь?

Счастливая любовь – это когда вы работали, устали, вымотались и, возвращаясь после тяжелого дня домой, видите кого-то, кто так на вас смотрит, что хочется рассказать ему о своем дне. И в вашем рассказе день этот становится совсем иным, потому что ваше отражение в глазах этого человека так романтично, интересно, блестяще, что рассказ о самом обычном дне будет в ваших устах увлекательной повестью.

Не подумайте, что, приходя домой, надо паясничать, чтобы развлечь близкого человека, – это катастрофа. Это не любовь. Это плохо сбалансированная форма совместной жизни.

А в тот день, когда человек сочтет, что ваш рассказ совсем не интересен, – что это будет означать?

Это будет означать либо что вы прониклись нездоровым самолюбованием, и тогда реакция совершенно оправдана, либо что вас больше не любят. Потому что рассказывать – это еще не все.

Для вас есть разница между любовью и страстью?

Испытывая любовь, себя понимаешь. Испытывая страсть, себя упрекаешь.

Вы верите в любовь с первого взгляда?

Да. Вернее сказать, в немедленную и неодолимую тягу. Но не думаю, что это может быть надолго. Потому что это основано прежде всего на физических началах. Включается воображение тела, что, на мой взгляд, не абсурд, а составляющая любви. Физическая тяга необходима, но недостаточна.

Люди могут жить вместе и по иным причинам. Они любят друг друга, уважают друг друга, им вместе весело, интересно, а физическая сторона, собственно, и не задействована... Но в выигрыше скоро окажется кто-то третий.

Говорят, любовь-страсть длится не больше семи лет. Дело в обновлении клеток. После вальса и головокружения можно и споткнуться. Это не обязательно разлука, может быть и так: «Они поженились, и было у них много детей». Что означает конец любовного романа. Любовь – единственное средство от одиночества.

Не кажется ли вам, что любовные отношения длятся меньше, чем прежде?

Воображение в наше время больше не задействуется. Теперь, если вам хочется с кем-то поговорить, вы беретесь за телефон.

Что еще изменилось – в мое время физическая любовь для юных девушек была под запретом; теперь же она обязательна. Это даже хуже. Сегодняшняя девушка, сохранившая невинность до девятнадцати лет, почти смешна. Но обязательная любовь – это так скучно! Есть много людей, не имеющих никакой охоты предаваться любовным игрищам, но вынужденных это делать, потому что этого требует мода. Вот вам новый конформизм! И как при всяком конформизме, достаточно пойти против течения, чтобы шокировать...

Можно ли любить двух мужчин или двух женщин одновременно?

О да! Думаю, да. По-разному. И, кстати, чтобы любить двух мужчин, нужно быть безгранично любимой хотя бы одним из них.

Ему можно изменять, потому что за вами такой капитал счастья! Я, когда была счастлива, запросто могла изменить парню, с которым встречалась, а вот если была влюблена в человека, который на меня и не смотрел, ему я изменить не могла: я казалась себе некрасивой и никого не хотела видеть. Если вы любимы мужчиной, который сильно любит вас, вы чувствуете себя красивой, вам хочется нравиться, как бы подтвердить его мнение. Мало женщин это признают, а мужчин еще меньше. Но это правда.

Вы мечтали о вечной любви?

Да, когда мне было четырнадцать лет. Позже – нет, потому что мне было интересно узнать других мужчин, несмотря на горечь разлук. Любовь может быть и помехой празднику. Когда начинаешь скучать, трястись от скуки – надо бежать. Я порой ускоряю события, чтобы не дожидаться худшего, этих завтраков, когда нечего больше друг другу сказать. Но я не знаю рецепта для долгой любви. Да и не вижу в нем необходимости. Я слишком люблю счастье, чтобы иметь несбыточные желания.

Любовь делает человека счастливым?

Когда вы влюблены, полного счастья быть не может. С одной стороны, вы не можете быть все время вместе с тем, кто вам нравится. С другой стороны, не можете быть абсолютно уверены ни в самой себе, ни в нем. Есть об этом великолепная фраза у Пруста: «Он испытывал при Альбертине эту неловкость, эту потребность в чем-то большем, которая лишает подле любимого существа чувства любви». Я думаю, это верно.

Если скажут слово «любовь», что вы ответите?

Я всегда цитирую фразу – она чудесная – Роже Вайяна: «Это то, что происходит между двумя людьми, которые любят друг друга». Добавлю, что любовь – как болезнь, тяжелая и постыдная, когда она не взаимна. Когда я не влюблена, это кажется мне безумием, глупостью, бессмыслицей. Когда влюблена – не расстаюсь с телефоном, не помню себя... Меня очень трогает тот факт, что люди, слышущие несгибаемыми, бывают обезоружены ласковыми, нежными. Когда влюбляешься в хорошего человека – пиши пропало. Это навсегда. Но жизнь мужчин тоже не сахар! Отношения в парах зачастую бывают напряженными, просто невозможными... наверное, потому, что женщины требуют всего по праву «слабого пола» плюс пресловутой свободы.

Свобода, независимость – вы ими дорожите...

Это мое оружие. Независимость прежде всего. Нет, конечно, если в кого-то влюбляешься, то полностью зависишь от телефонного звонка. Независимость не исключает такого рода зависимости, она в том, чтобы не видеться с теми, кого презираешь, не здороваться с теми, кого считаешь подлецами, не делать множество вещей, которые делают многие, даже умные и чуткие люди, потому что их вынуждает к этому жизнь. Вот эта зависимость может довести до самоубийства. Люди все больше и больше запутываются в этих сетях. На них всегда устремлены чьи-то взгляды. У них нет времени хоть немного сосредоточиться на себе, побыть пару часов в одиночестве, почитать книгу, послушать музыку, просто расслабиться, подумать, поработать мускулами головы.

Да, независимость – это как мускулатура, которую надо развивать. Но у людей вечно нет на это времени. В любую секунду их мир может рухнуть, если не станет чьего-то взгляда, чьей-то поддержки. И тогда – черная дыра. Но вместо того, чтобы заполнить эту дыру, взяв книгу или просто уснув, они в нее падают. Они мечутся, охваченные паникой. А тут еще ужас – непрерывный шум, бубнит телевизор, гомонит город, и все эти дурацкие лозунги в газетах: «Будьте счастливы»... «Как стать счастливым»... Это же мерзко, в конце концов! Им объясняют, как стыдно и глупо быть несчастными, потому что сделано все для их счастья. Поэтому, будучи несчастными, они чувствуют себя виноватыми. Я думаю, это одна из причин, по которым люди кончают с собой. Раньше они просто были несчастны. В эпоху романтизма, например, люди ходили по улицам, обливаясь слезами, падали друг другу в объятия, рыдая, и чем больше они плакали, тем более умными и чуткими слыли! Теперь же, если вы не повторяете то и дело «Все хорошо, все отлично», вам скажут: «Бедный дурень, сходи-ка ты к психиатру или попей таких-то таблеток!» Идиотизм все-таки.

Эта свобода – одна из составляющих любви к жизни?

Именно. Свобода всегда была моей истинной страстью, с самого детства.

Если проследить ваш путь с 1954 года, оказывается, что вы как-то незаметно стали одним из политических ориентиров вашего времени. Как это произошло?

На политику мне было наплевать. Но началась война в Алжире, я подписала «Манифест 121», и на мою жизнь покушались. Я примкнула к левым интуитивно и поверила в Миттерана.

Но в 1965 году вы поддерживали де Голля против Миттерана?

Да. Были даже дебаты в «Пари-Матч». В то время я была за де Голля, а Маргерит Дюрас – за Миттерана. Для меня де Голль был левым. Я и до сих пор так думаю. В то время я не верила в Миттерана, я познакомилась с ним в 1979–1980 годах и изменила свое мнение.

Знаете, правые, левые... По отношению к нищете, к тому факту, что есть обездоленные, несчастные, голодающие, есть две позиции. Одни говорят: нищета существует, но это неизбежно; для меня это правые. А другие говорят: нищета существует, и это нестерпимо; это левые. Нищета как понятие всегда казалась мне нестерпимой.

Вы голосуете?

Да, всегда в Кажаре, моей родной деревне.

Вы часто опережали специалистов в оценке политической

ситуации, например, в том, что касалось Кубы, как вы это объясните?

На историю с Кубой я не в обиде. Когда я в 1960-м туда приехала, многие были в восторге. Но мне все эти солдаты со всеми их автоматами внушили изрядное опасение. Быть может, это женский здравый смысл, неприемлющий знамен и фанфар?

А в вашей семье интересовались политикой?

Мой отец не имел убеждений, кроме одного: не голосовать за коммунистов! Моя мать была правой традиционно, она ведь из семьи помещиков. Но все не так просто: мои родители прятали евреев во время войны.

Во время войны вам было страшно?

Нет, потому что маме не было страшно. Когда началась война, родители оставили нас, брата, сестру и меня, у бабушки в Лоте и уехали в Париж, потому что мама забыла свои шляпы. Она не могла представить, как переживет войну без шляп. Когда они вернулись, мы поселились в Дофине, потом в Веркоре: отец думал, что там нам будет спокойнее. На самом же деле мы жили между драмами и казнями.

Кто был главой вашей семьи? Отец или мать?

Мои родители. Они были очень разные и дополняли друг друга. Любопытно, кстати, что они понимали друг друга, только когда ссорились. Короче говоря, доказывая свою несхожесть, они больше друг друга ценили. Это люди, которые очень помогли мне в жизни.

Что вас забавляет?

Многое. Люди, некоторые ситуации, газеты, СМИ, физиономии людей в телевизоре, как они выступают с достоинством, точно на подмостках, и как ерзают, когда на них направляют свет софитов. Очень уморительно. Это язвительный смех, но есть еще смех более непринужденный, дружеский. Я обожаю Лорела и Харди.

Вы любите каникулы?

Слово «каникулы» для меня пахнет детством: вспоминаются пейзажи Нормандии или Средиземноморского побережья. Но еще и не столь ясные горизонты разных учебных заведений: в семнадцать лет я провалила июньские экзамены и проводила каникулы в пансионе.

Повторили бы вы, как в конце «Ответов» [\[39\]](#) несколько лет назад: «Мне не хочется быть взрослой»?

Ответ двусмысленный и немного претенциозный – ведь повзрослела ли я, в конечном счете, так и не знаю... Родители меня опекали, успех избавил от материальных затруднений и уберег от чьего бы то ни было господства, я была свободна, жила

жизнью школьницы. Кстати, и критики всегда говорили со мной тоном старых дядюшек, повторяя при выходе каждой книги: «Как-то это не очень серьезно, на этот раз она недостаточно хорошо поработала». Или: «Могла бы написать и получше, несерьезна, плохой сюжет, слабая интрига». Или еще: «Слишком много пьет, слишком много курит». В Америке обо мне пишут диссертации; в Японии у меня есть фан-клубы, как у Мирей Матье; в России учат французский по моим книгам; а во Франции мне продолжают ставить оценки за поведение... Нет, мне не обидно, скорее смешно! Порой я и сама поддаю жару.

Чего вы боитесь?

Болезни и смерти людей, которых люблю. Не своей смерти... Нет, боюсь только за близких. Иногда я бываю такой хрупкой, такой ранимой... Но я быстра... Бежать! Надо сказать, что я недостаточно себе интересна, чтобы выносить себя больной или в унынии!

Вы сами не раз были на волосок от смерти...

Да, я едва не умерла уже как минимум пять или шесть раз! Знаете, для меня это воспоминания, пожалуй... романтические. И еще, конечно, очень тягостные воспоминания о физической боли. Когда случилась первая автомобильная авария, в двадцать два года, мне закрыли глаза и сняли цепочку с шеи. У меня не было пульса! Меня даже соборовали.

В другой раз я была действительно уверена, что умираю. Я думала – и все думали, – что у меня рак поджелудочной железы. Я заставила врача, который должен был меня оперировать, поклясться, что он не станет меня будить, если увидит, что я обречена. Когда меня везли в операционную, я молила небеса, чтобы он сдержал клятву, чтобы не вздумал меня вытаскивать. Я была уверена, абсолютно уверена, что умру. То, что чувствуешь в такие минуты, до того банально. Говоришь себе: «Как, уже? Я думала, это будет позже?» Как если бы к вам пришел гость, которого вы не ждали так рано. Не думаешь ни о ком, ни о родных, ни о друзьях, ты совсем одна, и в голове крутится: «Черт побери, уже». Тело восстает против ужаса, а голова говорит: «Надо же, вот так глупо».

Что случилось с вами в Боготе?

Я уснула в Боготе и проснулась в Париже... Две недели спустя! Это было удивительно! И обидно... Я-то хотела посмотреть Боготу! Говорят, это случается раз десять в год: из-за высоты. У них даже всегда наготове в аэропорту кислородная палатка. Разрыв плевры... (какое противное слово!), но проснулась я в превосходном настроении!

Вы что-нибудь помните об этих двух неделях?

Смутно... Врачи искусственно продлили кому, чтобы я не кашляла, я была вся опутана трубками... Мне казалось, будто я спускаюсь по ступенькам и падаю, падаю... Больше ничего. Несколько раз я переживала клиническую смерть и могу вам сказать, что там ничего нет! Оно и к лучшему! Мне было бы страшнее представить себе одинокую душу, кружащую в нетях и вопиющую в непроглядном мраке!

Эти «звоночки» изменили ваш образ жизни?

Я так и не смогла точно определить, каким образом эти «звоночки» изменили мою жизнь. Может быть, я стала неразумнее, легкомысленнее. Я представляю себе смерть иначе, чем те, кто никогда не видел ее близко. Встреча со смертью изрядно лишает ее ореола. Поэтому я, наверно, одна из немногих в мире, кто меньше всех боится смерти. Смерть – это чернота, абсолютное небытие, но это совсем не страшно.

Так значит, этот трагический опыт сделал вас легкомысленнее?

Легкомыслие – это, по-моему, хорошее качество. Это как место, где можно укрыться, когда дела из рук вон плохи. Когда провалилась пьеса, критика ужасна, если ты близко видел смерть, то уже не можешь всерьез на это сетовать и рвать на себе волосы. Говоришь себе: «Стоп! Есть вещи и похуже!» Легкомыслие – это еще и определенная культура, возможность уважать людей, не обременяя их. Я же не скажу им: «Послушайте, со мной случилась беда!» Бедняги, они не будут знать, что с этим делать.

Не знаю, если когда-нибудь меня настигнет смертельная болезнь, скажу ли я об этом моим близким. Думаю, нет.

Но вы бы хотели, чтобы врачи сказали вам об этом?

Конечно. Но не за полгода, так рано не стоит. За две недели вполне достаточно! Как бы то ни было, мы всегда себе лжем. За эти несколько часов, когда я думала, что умираю, я поняла, почему столько умных людей себе лгут.

Мне вспоминается Роже Вайян. За три месяца до смерти он говорил мне о своих планах на следующий год. Я думала: «Это немыслимо, он же умный человек, он должен видеть все признаки приближающейся смерти!» А ведь он в самом деле верил, что не умрет. Душа не приемлет этой мысли.

Я смирилась с мыслью о смерти всего на несколько часов. Но потом, когда исчерпаны силы, душа должна ее отвергнуть. Это вовсе не недостаток мужества, это борется душа.

Вам никогда не бывает страшно жить?

Было некоторое время назад, два или три года, но это прошло. Конечно, временами еще накатывает страх. Просыпаешься иной раз с колотящимся сердцем: «Что со мной

будет? Что будет с моей жизнью?» Все мы рано или поздно задумываемся о смерти. Говорим себе: «Меня не будет, я больше не увижу деревьев». Это мысль не столько о смерти, сколько о том, что нас не будет на свете. Вот это ужасно.

Что значит для вас смерть?

Конец жизни. Рано или поздно он наступает.

А зачем мы живем?

Да низачем. Временами мы бываем очень счастливы.

Вы никогда не верили в Бога?

После моего недолгого пребывания в Уазо, религиозном учебном заведении, в Бога я больше не верю. Веру я утратила, читая Сартра, Камю, Превера. Но окончательно меня отвратило в этом возрасте зрелище больных в Лурде, куда меня привезли родители. Все эти несчастные люди ждали чуда – и ничего не произошло. Впрочем, я бы одним чудом не удовольствовалась: мне их надо было пятьдесят, не меньше! Я не верю в Бога. Но ничего не имею против Бога. Это для меня не проблема.

Вы, похоже, считаете, что смерть требует известной стыдливости. Особенно если речь идет о самоубийстве. В «Здравствуй, грусть» Анна маскирует самоубийство под автомобильную аварию...

Я знала в жизни несколько человек, которые покончили с собой. Ужасно это чувство отчаяния и бессилия, когда друзья, которых любишь, добровольно уходят из жизни. Я думала тогда: «Боже мой, дойди я до такого, сделала бы все, чтобы не оставить близким это бремя, эту душевную рану: ведь они будут терзаться, что ничем не смогли помочь, что не поняли вовремя». С другой стороны, я думаю, что, когда человек сводит счеты с жизнью, он хочет заставить страдать других. Красивое самоубийство – большая редкость.

Вы когда-нибудь интересовались психоанализом?

Не так чтобы очень. Я признаю его пользу, но только для некоторых особых случаев. Что касается меня, я всегда сама находила лекарство от своих страхов. Как правило, они проходили быстро. Мои многочисленные внутренние конфликты никогда не вызывали у меня желания бежать к психиатру. Когда я два года переживала несчастную любовь, мне и в голову не пришло обратиться к психоаналитику. Писатель должен обладать минимумом внутренней сложности, чтобы писать. Минимумом, потому что, когда мне неуютно или страшно жить, я не могу написать ни строчки.

Какую профессию вы могли бы выбрать?

Возможно, меня привлекла бы медицина. Мне интересны отношения тела с головой, психосоматические проявления, но

только не психоанализ. Все мои знакомые, обращавшиеся к психоаналитикам, до ужаса скучны!

Случается ли вам иногда вспоминать прошлое?

Вспоминаю я редко. Если пытаюсь вспомнить последние годы, мне кажется, что передо мной прокручивают фильм Мака Сеннета^[40], столько людей, кто-то входит, кто-то выходит... Когда я вспоминаю все, что со мной было, у меня голова идет кругом.

Этот фильм вам интересен?

Да, но фильм продолжается, он еще не кончился, а я в нем и актер, и режиссер, и продюсер, и прокатчик. Главное – выполнить сценарий, сохранив в целости некоторые свои качества, позволяющие хорошо жить... Например, определенное хладнокровие по отношению к вещам, к людям... небольшую дистанцию. Это очень важно – небольшая дистанция...

И с этой дистанции как видится вам сегодня то, из чего сложилась ваша легенда: скорость, игра?..

Мне кажется, что я так и не выросла. Как бы то ни было, я же вам говорила, что ко мне постоянно обращаются тоном старого дядюшки, поучающего юную племянницу. Но люди все-таки хорошо ко мне относятся. Я это поняла, когда чуть не умерла в Боготе. В Париже, выйдя из больницы, я была поражена, когда незнакомцы бросались мне на шею! Хозяева быстро угощали меня выпивкой... Таксисты предлагали отвезти бесплатно... Самые разные люди, и все чудесные!

Вы тоскуете по вашему детству?

Думаю, все мы тоскуем по детству. А мое было очень счастливым. Детство – беззаботная, безответственная пора. И к тому же вас любят безраздельно.

Вы часто пишете в своих романах о времени. Оно вам интересно?

В той мере, в какой все вокруг обезумело, время – единственное достоверное понятие. Время и пространство – две категории чувственности, и я думаю, что более чувственное из них – время.

Время вас пугает?

Нет, если говорить о нем как о разрушающей силе. Меня пугает его влияние на чувства, на людей. Это верно, что некоторые люди, а может быть, и я сама, не знаю, совершенно отклонились со временем от своего пути.

Вы боитесь состариться?

Нет. Я об этом пока не думаю. И зря, не правда ли? Но старость наступает – я говорю это не для самоуспокоения – в тот момент, когда вы больше не желанны и уже не ждете встреч. И

дело тут не в возрасте. Но можно сколь угодно долго оставаться шалой, упорно «делать глупости», и все же иной раз, просыпаясь утром, стучишь зубами. А в другие утра все себе объясняешь и не сомневаешься больше, что земля круглая, а мир принадлежит тебе. Это приходит с годами. В двадцать лет меньше забываешь, не стыдишься слез и с любовью созерцаешь свое плачущее отражение в зеркале...

Значит, вы не хотите заморачиваться проблемой возраста?

По правде сказать, сейчас я заморачиваюсь ею куда меньше, чем когда мне было пять лет. В свой пятый день рождения я закатила чудовищную сцену, пошвыряла на пол торт со свечами и подарки, потому что не желала «становиться старой». Сегодня у меня, конечно, есть кое-какие проблемы с морщинками, которые мне неприятны. Я пользуюсь классическими средствами, масками красоты, как их называют, но не тревожусь.

Вы ничуть не утратили вашего энтузиазма...

В двадцать лет у меня наверняка было меньше энтузиазма, чем сейчас. Энтузиазм, впрочем, не совсем подходящее слово. Я только хочу сказать, что в двадцать лет нам куда труднее ужиться с собой, чем позже. Фраза Низана^[41] «Мне было двадцать. Я никому не позволю сказать, что это лучший возраст в жизни» стала общим местом, но, по-моему, она верна. Мне сейчас куда легче принимать жизнь, чем в двадцать лет.

Может быть, в конечном счете, вы проще и сложнее, чем схемы, до которых вас низводят?

Мои литературные успехи часто перевешивала хроника происшествий: спортивные машины, игра, прихоти. Малейший инцидент оборачивается шоком. Малейший промах влечет за собой трудности, судебные разбирательства. Любое недоразумение превращается в умышленную махинацию. В центре внимания все, что лежит на поверхности. Мне приписывают гипотетические приключения, дружков и подружек, настоящих или вымышленных – какая разница, горести и радости, тоже настоящие или вымышленные. Но на самом деле моя жизнь куда проще, чем то, что называют моей легендой.

Вы сказали: «Писателя знаешь, если знаешь, о чем он тоскует». А о чем тоскуете вы?

Мне жаль, что я не могу жить жизнью более неспешной, более гармоничной, более поэтичной. Картина моей мечты: я пишу в большой кровати, на пляже, и мне ничего больше не надо делать.

Картина лени?

Рая. Рая для лентяев, но ведь в раю не работают. Стыдно, когда приходится работать, чтобы жить! Я работаю только потому, что живу в обществе, где все работают. Если бы я не

работала, то чувствовала бы себя немного... неудачницей. Но в обществе, где люди ничего не делают, я жила бы как они – не делала бы ничего!

Даже не писали бы книг?

Стихи, ради чистого удовольствия. Я никогда не представляла себе, что могла бы не писать. А не работать – да, запросто. Работать, чтобы жить, – это тягостное ущемление свободы, порождение христианства.

А как же бессмертие?

Наплевать. Слава, бессмертие, все, что будет после меня... Скажи мне кто-нибудь, что как только меня предадут земле, не появится больше ни одной статьи обо мне, ни строчки, это мне было бы – и есть – совершенно безразлично.

Думаете ли вы, что останетесь в литературе?

Не знаю. Как ни странно, это мне, в общем, тоже все равно. Только в мужчинах живет это желание оставить след, женщинам на это плевать. У них ведь есть дети. Не так давно мне попалась одна из моих книг в самолете. Я сказала себе: «Надо же, я еще не совсем вышла из моды». Но делать из этого вывод, что я останусь в литературе... поди знай!

Думаете ли вы, что когда-нибудь в вашей жизни наступит покой и безмятежность?

До этого далеко.

А если бы можно было начать все заново?

Если бы можно было начать все заново, я бы, конечно, начала, постаравшись избежать кое-каких мелочей: автомобильных аварий, больниц, несчастной любви. Но я не отрекаюсь... Ни от чего. Мой образ, моя легенда – в них нет никакой фальши. Я люблю делать глупости, пить, быстро ездить. Но я люблю еще многое другое, что ничуть не хуже виски и машин. Например, музыку и литературу.

Какой вопрос вы хотели бы, чтобы вам еще задали?

Я не люблю вопросов, я люблю беседы. Я всегда только отвечаю и чувствую себя неловко, не так уж мне интересна собственная персона. Что побудило вас писать статьи?.. Совсем маленьким вы уже писали?

Вот список изданий, в которых публиковались выступления и интервью Франсуазы Саган:

Аксьон, Актюалите литерер, Адам, Антуанетта, Артист е Варьете, Ар, Орор, Ото-Журналь, Авансцена, Бон Суаре, Канар аншене, Кандид, Канн Нис Миди, Шатлен, Комба, Констелясьон, Конструир, Курье де л'Уэст, Круа, Депеш де л'Эст, Девуар, Диманш, Диманш Эклер, Диманш Матэн, Элль, Экип, Эспуар де

Нис, Эст републикен, Эроп. Эвенман, Эвенман дю жеди, Экспресс, Фам, Фам д'ожурдюи, Фигаро, Фигаро литерер, Ф. Магазин, Франс-Суар, Галери, Газетт литерер, Глоб, Иси Пари, Иллюстре де Лозанн, Информасьон, Информасьон медикаль (Монреаль), Информасьон литерер, Журналь дю диманш, Журналь де Тегеран, Жур де Франс, Лектюр пур тус, Леттр франсез, Либерасьон, Либерте дю диманш, Либр Бельжик, Лир, Люи, Мадам Фигаро, Магазин Литерер, Мен, Марбр, Мари-Клер, Мари-Франс, Матэн, Минют, Монд, Нью-Йорк Таймс, Нис матэн, Нуар е Блан, Нор Эклер, Нуво Кандид, Нувель Републик дю Сентр-Уэст, Нувель литерер, Нувель Обсерватер, Обсерватер литерер, Уэст-Франс, Парископ, Паризьен, Пари Матч, Пари Норманди, Фар де Брюссель, Пуэн, Пресс, Котидьен де Пари, Републикен лоррен, Републик дю Сантр, Ревю дю Либан, Самди Бельжик, Самди суар, Суар, Суар (Брюссель), Суар иллюстре, Спесьяль, Спектакль дю монд, Сюд-Уэст Бордо, Теле дерньер, Теле Магазин, Теле Мустик, Телерама, Теле 7 Жур, Темуаньяж кретьен, Таймс Мэгазин, Юните, Вент Ан, Вент-катр эр.

Беседы вели:

Морис Ашар, Филипп Александр, Кристин Арноти, Жизель д'Ассайи, Эмманюэль д'Астье, Марсель Оклер, Иван Одуар, Жорж Орик, Франсуа-Мари Банье, Жорж Бельмон, Пьер Бенишу, Клод Бери, Мирей Борис, Франсуа Ботт, Рене Бурдые, Андре Бурен, Пьер Бутейе, Филипп Бувар, Жан-Жак Брошье, Жаклин Картье, Жан Катлен, Изабель Кошуа, Клод Сезан, Эрве Шабалье, Ортанс Шарбье, Катрин Шен, Жан Шалон, Мадлен Шапсаль, Жизель Шарбонье, Бенуа Шарпантье, И.-М. Шупан, Жанетт Коломбель, Эмиль Копферман, Жиль Костаз, Мишель Котта, Мишель Крессоль, Катрин Давид, Жак де Декер, Пьер Демерон, Жаклин Деморне, Фани Дешан, Клер Деварье, Пьер Девиль, Доминик, Франсуа Дюку, Пьер Дюмайе, Полетт Дюрре, Жиль Дютре, Бернар Франк, Патрисия Ганден, Жильбер Ганн, Адриен Ган, Жером Гарсен, Мишель Газье, Анник Жей, Сильви Женевау, Поль Джанноли, Поль Жиль, Агата Годар, Жильбер Гразиани, Люсьен Гиссар, Клебер Эденс, Пьер Ан, Андре Алими, Гийом Аното, Эрмин Эршер, Клодин Жарден, Альсид Жоливе, Жан-Франсуа Жослен, Пьер Жюльен, Серж Жюли, Жан-Франсуа Кервеан, Жан Лашовски, Жиль Ламбер, Мишель Ламбер, Жан-Клод Лами, М.-С. Данд, Софи Ланн, Клод Ланзман, Жиль Лапуж, Пьер Ларош, Жак Лоран, Мари Лорье, Жан-Поль Ле Гофф, Эрик Легеб, Жорж Леон, Пьер Лост, Мишель Мансо, Элен Матье, Марсель Митуа, Серж Монтиньи, Поль Морель, Моник Мулен, Пьер Мюра, Патрис Нюссак, Франсуаза Пирар, Бернар Пиво, Патрик Пуавр д'Арвор, Бертран Пуаро-Дельпеш, Жиль Пюдловски, Пьер Ке, Мишель

Раденак, Мартен Ребьер, Сильвен Регар, Режин, Аликс Реймс, Жину Ришар, Патрик Риве, Жак Робер, Жан-Пьер Робер, Пьеретт Россе, Моник Руа, Клод Саррот, Жак Собер, Иветт Савари, Жозиан Совиньо, Мариза Шеффер, Жюдит Шлумбергер, Катрин Шваб, Даниель Сеген, Клодин Сегюр, Пьер Серваль, Даниель Sommer, Элизабет Суссе, Кармен Тессье, Сесиль Тибо, Моник Тибо, Йоланда Тирье, Морис Тилье, Одетт Валери, Ги Вердо, Клодин Вернье-Палье, Жан-Клод Веро, Лоранс Видаль, Антуан Вители, Рене Винцен, Кристиан Ив.

В ответ на последний и единственный вопрос, заданный Франсуазой Саган, можем сказать: нам известно из почти достоверных источников, что большинство вышепоименованных совсем маленькими уже писали.

notes

Примечания

Не может быть и речи (*англ.*).

Роман французского писателя Филиппа Эриа.

Сакс Морис (Эттингаузен) (1907–1945) – французский писатель, автор автобиографических рассказов о времени Второй мировой войны: «Шабаш», «Псовая охота».

Себастьян-Рош Николя де Шамфор (1741–1794) – французский писатель, мыслитель, моралист.

Контрпетри – от фр. *contrepêterie* – акрофоническая перестановка букв или слов в словах, создающая слова с новым значением.

Дочь французского писателя Андре Мальро была школьной подругой Франсуазы Саган.

Имеется в виду легенда о святом Мартине Турском, который, увидев замерзающего нищего, мечом разрезал пополам свой плащ и отдал ему половину.

Тем самым (лат.).

Цит. по переводу Е. Залогойной.

«Интервиль» – популярная во Франции телеигра.

Марсель Оклер (1899–1983) – французская писательница, основавшая с Жаном Пруво журнал «Мари-Клер».

Имеется в виду Пьер Мендес-Франс (1907–1982) – французский левоцентристский политический деятель, занимал важные государственные посты в Третьей и Четвертой республике.

«Манифест 121» (полное название «Декларация о праве неподчинения в Алжирской войне»), подписанный видными интеллектуалами и артистами, был опубликован 6 сентября 1960 года в журнале «Верите-Либерте». Он требовал от французского правительства и президента де Голля признания Алжирской войны как законной борьбы алжирцев за независимость.

Джоан Баэз – американская певица и автор песен, исполняющая музыку преимущественно в стилях фолк и кантри, левая политическая активистка.

Джамиля Бупаша – активистка Алжирского национального фронта освобождения. Была подвергнута пыткам во французской тюрьме, что послужило поводом для громкого судебного процесса, одним из инициаторов которого была Симона де Бовуар. Джамиля Бупаша была приговорена к смерти в июне 1962 года, но амнистирована и освобождена в 1962 году.

Секретная вооруженная организация (Organisation de l'armée secrète, OAS, *фр.*) – ультраправая подпольная националистическая террористическая организация, действовавшая на территории Франции, Алжира и Испании в завершающий период Алжирской войны (1954–1962).

Преследование протестантов при Людовике XIV.

Неудачник (*англ.*).

Победитель (англ.).

Герберт фон Караян (1908–1989) – австрийский дирижер. На протяжении 35 лет работал с Берлинским филармоническим оркестром. Оставил после себя одну из самых обширных дискографий.

«Форель» – песня Шуберта.

Роже Вайян (1907–1965) – французский писатель.

Сидони-Габриэль Колетт (1873–1954) – французская писательница, член Гонкуровской академии с 1945 года.

Фильм Джона Шлезингера (1971), русское название «Воскресенье, проклятое воскресенье».

Здесь неперево́димая игра на созвучии: un bon mari-amant – un bon ami marrant.

Люсьен Гитри (1860–1925) – знаменитый французский актер и драматург. Самый популярный актер своей эпохи. Был партнером по театру Сары Бернар, создатель выдающихся образов, принесших ему ряд международных триумфов.

Альфонс Алле (1854–1905) – французский журналист, эксцентричный писатель и черный юморист, известный своим острым языком и мрачными абсурдистскими выходками, на четверть века предвосхитившими известные эпатажные выставки дадаистов и сюрреалистов.

Лорел и Харди – Стэн Лорел и Оливер Харди – американские киноактеры, комики, одна из наиболее популярных комедийных пар в истории кино. Стэн был худым, а Оливер – полным.

Zinzin на французском аргю означает «сумасшедший».

Артюр Адамов (1908–1970) – французский прозаик и драматург.

Билли Холидей (Элеонора Фейган) (1915–1959) – американская джазовая певица.

Мадам Клод (Фернанда Грюде) в 1960–1970 годы поставляла дорогих проституток высокопоставленным чиновникам и членам правительства.

Поль Бурже (1852–1935) – французский критик и романист, который с консервативных позиций католицизма и монархизма возглавил, по выражению Чехова, «претенциозный поход против материалистического направления».

Клод Фаррер (1876–1957) – французский писатель.

«Черная серия» – популярная во Франции серия детективных романов.

Мишель Франсуа Платини – французский футболист, тренер и спортивный функционер. Чемпион Европы 1984 года. Лучший французский футболист XX века по версии «France Football».

Дэррил Ф. Занук (1902–1979) – американский продюсер, сценарист, режиссер и актер, сыгравший одну из важнейших ролей в становлении и развитии американской киноиндустрии.

Жюльетт Греко (р. 1927) – французская актриса и популярная певица.

Автобиографическая книга Франсуазы Саган, вышедшая во Франции в 1974 году.

Мак Сеннет (1880–1960) – американский режиссер и продюсер, считается отцом немой комедии, предшественником Чаплина.

Поль Низан (1905–1940) – французский философ и писатель, друг Сартра.